www.oz.by

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Это рассказ о разрушенной жизни и выстраданное откровение человека, который просто хочет восстановить справедливость. Вместе с автором мы погружаемся в воспоминания о его детстве, ужасаемся чудовищности концлагерей, созерцаем войну с точки зрения завербованных поневоле, наблюдаем возрождение нормальной жизни после поражения нацистов, возмущаемся несправедливостью властей. Пьер Зеель написал свои воспоминания, чтобы его услышали и ему поверили, в отличие от правительства, которое предпочитает помнить только об отдельных группах пострадавших.

- Пьер Зеель
  - БУРЖУАЗНАЯ СЕМЬЯ, КАК ВСЕ
  - ШИРМЕК - ФОРБРЮХ
  - НАПРАВЛЕНИЕ – СМОЛЕНСК
  - ГОДЫ ПОЗОРА
  - СКОРБНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23

- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67

- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73

Пьер Зеель
Я, депортированный гомосексуалист...

Другу Жо, убитому в 1941 году, и всем жертвам нацистского варварства

БУРЖУАЗНАЯ СЕМЬЯ, КАК ВСЕ

Мне было семнадцать, и я хорошо знал, что иду на риск, проводя время в этом сквере между лицеем и отчим домом. Здесь мы с приятелями встречались после занятий. Чтобы поболтать. Чтобы дождаться какого-нибудь незнакомца, который сумел бы совратить нас. В тот день, оказавшись в объятьях грабителя, я почувствовал, как часы соскользнули у меня с запястья. Я закричал. Он уже скрылся. Я и не представлял себе, что это обыкновенное происшествие перевернет всю мою жизнь и даже погубит ее.

Я был элегантным молодым человеком, из тех модников, которых тогда называли «зазу». Нас, зазу, немного было здесь, в Мюлузе. Одевались мы скорее изысканно, нежели вызывающе. Наши галстуки необычных расцветок и жилеты с вышивкой так просто было не найти. Чтобы их раздобыть, приходилось наведываться в несколько редких магазинов в центре города, вроде филиала «Мод де Пари», время от времени получавшего эти вещи из столицы. Волосы мы носили всегда только длинные и прилизанные помадой «а-ля Тино Росси», заплетая их в две толстые косички, одна в другой на затылке.

А ведь подобные тонкости умели делать как надо только избранные парикмахеры. Такое стиляжничество опустошало карманы, но я мог себе это позволить. Прохожие на городских улицах посматривали нам вслед, кто с интересом, а кто — осуждающе. Понятие «зазу» включало в себя и двусмысленную склонность к кокетству. Приходилось соответствовать.

Кража часов меня расстроила. С ними были связаны определенные воспоминания: их подарила мне крестная, проживающая в Париже мамина сестра, которую я обожал. Она покинула Эльзас из-за несчастной любви к молодому протестанту. Когда в семьях узнали, что влюбленные принадлежат к разным конфессиям, это поставило крест на планах сыграть свадьбу. Она бежала подальше от этих негостеприимных мест и во время редких заездов в Эльзас не посещала никого, кроме младшей сестры, моей матери.

Часы она подарила в день моего торжественного причастия, которое состоялось недавно. В нашем эльзасском католическом воспитании это очень важная церемония празднования конца отрочества. Тут всегда есть повод закатить большой пир, достать из сундуков тончайшие скатерти и дорогую посуду. Я был в самом красивом костюме, у меня были самая красивая свеча и самая красивая лента. По общему мнению, я пережил этот момент

своей жизни безупречно, осознавая что оставляю детство позади; взрослое чувство ответственности уже брезжило в верующем мальчике, и теперь я должен был всю жизнь проявлять уважение и любовь к своим родным. Гости съехались отовсюду, и сестры моего отца, одолевши расстояние от самого Нижнего Рейна, произвели сильное впечатление в церкви большими эльзасскими бантами.

Родители мои держали в доме 46 по улице Соваж, самой главной в Мюлузе, весьма популярное кафе-кондитерскую. Отправляясь в два соседних больших магазина, местная буржуазия не забывала заглянуть и к нам отведать пирожных, мороженого и других сладостей. Отец, который уже имел опыт руководства рабочими в похожем заведении в Хагенау, прикупил в 1913 году это дельце с условием ежемесячных выплат. Мать, тогда его невеста, была директрисой большого магазина — профессия совершенно исключительная для женщины до войны 1914 года. После свадьбы она стала вместе с отцом управлять кондитерской. Целые десятилетия простояла она за кассой, расположенной в центре магазина, любезно встречая каждого клиента. Мы жили в том же доме на верхнем этаже.

Мои родители познакомились через священника. Эмма Жанн, моя мать, опасалась случайных знакомств, ибо не хотела быть соблазненной и погубленной, как случилось с ее старшей сестрой, из-за невозможности заключить «неравный брак». Она открылась своему духовнику, который обещал найти ей подходящую партию. Это был прекрасный союз, по всем свидетельствам, очень удачный.

Первые годы супружеской четы, прежде чем дело у них пошло прекрасно, между двумя войнами и перед кризисом двадцать девятого года, были ужасны. Разразилась Первая мировая война. Кондитерскую реквизировали, чтобы обеспечивать хлебом ближайшие казармы. Отец ушел на войну, а матери с двумя детьми самого нежного возраста пришлось пережить вторжение немецких солдат в сапогах и касках, которые заняли дом и проткнули штыками все матрацы и даже несколько шкафов, обрекая на смертельные раны тех, кто мог прятаться внутри. Люди тогда поговаривали разное, а бывало, что и доносили. И действительно, мои родители укрывали у себя патриотов. Ведь наша вера была неразделима с преданностью свободной католической родине.

Помню, когда я был еще ребенком, мы, бывало, охотно вспоминали события войны 1914-1918 годов, о которых стоило бы услышать молодым, чтобы им передалось чувство гордости французских католиков, противостоявшее немецкому

протестантизму. Например, как моя семья прятала французское знамя в погребе и доставала его в самые тяжелые дни, чтобы, встав в круг, вполголоса петь «Марсельезу», а ведь снаружи улица кишела врагами.

Мы разделяли и ту душевную теплоту, с которой наша бабушка по отцовой линии вспоминала покойного мужа, офицера, закончившего училище в Сен-Сире, основателя страхового общества «Рейн-и-Мозель», умершего на тридцать восьмом году жизни от скоротечной чахотки, неизлечимой в те времена. Особенно вспоминается мне, как много мы с братьями молились, чтобы события 1914-1918 годов больше не повторились, а Эльзас никогда не становился заложником своего географического положения, когда нашим отцам и дядюшкам приходилось служить в армиях, воевавших друг с другом.

Я, последний, пятый ребенок в семье, родился 16 августа 1923 года в семейной усадьбе Филлат в Хагенау. Могу честно признаться, что мои детство и отрочество были счастливыми. Но если жизнь родителей вспоминается мне с мягкой нежностью, то обо всем, что касается меня самого, припоминаю с болью в душе. Сразу возникает мучительное чувство, словно все мои последующие горести стерли счастливые детские впечатления, словно память не сохранила ничего, кроме печальных эпизодов.

Например, из школьных лет помню случай с мертвыми птицами, которых одноклассники подсунули мне в парту специально для того, чтобы учитель, услышав мой ужасный крик, наказал меня, не пожелав даже выслушать объяснений. На уроках гимнастики опасность для меня таила буквально каждая минута. Однажды, прыгая через веревку, я на глазах у всех взял хороший разбег, но, достигнув препятствия, вдруг резко остановился и поэтому уткнулся в веревку носом. Зрелище, должно быть, вышло веселое, потому что мои товарищи разразились хохотом. Все они были болельщиками городского футбольного клуба и подолгу обсуждали между собой его новости. Если я не стал для них вечным посмешищем, то, без сомнения, только благодаря доброму имени моих родителей. Во всяком случае, из юных лет я вынес раннее отвращение к мужскому насилию.

Мне было тогда лет десять. Летом семья уезжала в ущелье Говальд, в большой дом среди елей, где прекрасные прогулочные аллеи вели к шикарным отелям, иногда в них останавливались даже коронованные особы. В столовой летнего дома я обратил внимание на сидевшую за соседним столиком девочку, которая взглянула на меня и улыбнулась. Неусыпный надзор взрослых, особенно строгий в нашем возрасте, мешал нам сблизиться и познакомиться как следует. Общаться мы могли, только строя

глазки или обмениваясь долгими улыбками.

Как с ней заговорить? Как объясниться в любви? Хотя бы сказать, как меня зовут? Чтобы как-то дать знать о своих чувствах, я каждый вечер просовывал ей под дверь религиозные картинки, вырванные из моего молитвенника. Это до глубины души возмутило наших матушек, которые долго обсуждали поведение своих детей. Надзор и чувство вины стали совершенно невыносимыми. Из дела, в сущности, совсем незначительного вырос большой скандал. За это бессознательное мальчишество меня отчитали так строго, что я вынужден был признаться сам себе в наличии чего-то постыдного в искренних взаимных порывах мальчиков и девочек. Кто знает, не стал ли я гомосексуалом именно после того, как подобные случаи в моей жизни повторились еще несколько раз?

Чем больше доброты я открывал в других, тем больше сам превращался в холерика. Приступы гнева накатывали на меня внезапно — тогда я принимался кричать и доводил до исступления окружающих. Один из особенно запомнившихся мне припадков черной ярости касался предмета позорного. Дело было в широком военном ремне моего отца, который как раз с этого года носили с немецкой униформой. На металлической пряжке была надпись: «Gott mit uns» — «С нами Бог»; иногда он служил орудием для того, чтобы наказать меня или моего брата.

Как-то раз, под угрозой унизительной порки, я тихонько украл ремень и заперся в туалете, заявив, что выйду, только если согласятся выполнить два моих условия. Первое — семья должна вся собраться перед закрытой дверью туалета. Это, к моему превеликому удивлению, было сделано. Второе — чтобы мой отец, в присутствии всех собравшихся, пообещал больше никогда не использовать столь гнусный предмет для нашего наказания. Согласился и он. Моя дерзость больше всего потрясла меня самого. Никому из четырех моих братьев доныне не удавалось добиться такой капитуляции. Несомненно, отец уступил натиску моего артистического гнева только потому, что я был младшим в его утомительном потомстве. Ненавистный предмет получил отставку и позднее был просто выброшен.

Во время обедов семья неизменно распределялась по трем столам: мужчины располагались за столом в центре комнаты, за которым отец сидел рядом с братом, обладавшим привилегией наследника. Затем шло место управляющего, и так далее, до простой прислуги, сидевшей с края стола. Мама священнодействовала за столом для женщин, вместе со всеми служившими у нас кондитершами. Тетя по материнской линии руководила беспокойным столиком для самых маленьких,

прибегая к помощи кухарки.

Когда наступал вечер, дом уже меньше походил на улей, дневное оживление стихало. Вся семья могла собраться за одним столом. Как днем, так и вечером, говорил и задавал вопросы только отец. Мы хранили молчание. Не вследствие запретов — но только в знак подчеркнутого всеобщего почтения. Кстати, я никогда не слышал, чтобы мать возражала отцу в чьем-либо присутствии. Да и он, со своей стороны, никогда не повышал голоса.

Когда вокруг не было взрослых, братьям нравилось набивать себе цену, прихвастнуть рассказами об интрижках и мелком флирте. Но нечего было и думать вынести подобные темы за пределы спален — все это тут же строго пресекалось. На возбуждение и вообще на все сексуальные темы, как и на многие другие жизненно важные, был наложен строгий обет молчания. И секреты хранились очень тщательно.

Например, моя младшая сестренка, моложе меня на пять лет, на поверку не оказалась мне родной. Я узнал об этом, только когда мне уже исполнилось одиннадцать. Я был так счастлив, что эта малышка с нами, мальчиками, но замечал, что отец оказывает ей особенное внимание. Ее мать, сестра отца, умерла в 1928-м от родильной горячки, закончившейся внутренним кровоизлиянием, которое тогда не умели лечить. Отец предложил убитому горем зятю воспитать малышку, едва появившуюся на свет, живую память о сестре, вместе со своими детьми. Ее отец согласился на это. Много позже он женился снова и народил других детей. Но в завещании не забыл эту девочку, дитя первой брачной ночи.

И вот однажды, когда мы ожидали, пока мама вызовет нас, одного за другим, в свой кабинет для ежемесячного просмотра дневников, я заметил, что на дневнике сестры проставлена другая, не наша фамилия. После того как мама привычно пожурила меня за плохие оценки и похвалила за успевание по поэзии и богословию, она спросила, что меня так обеспокоило. Я рассказал о своем недоумении, и мать бесхитростно объяснила мне все. Так я наконец узнал правду. Жозефина, которую все называли Фифиной, не могла больше оставаться мне младшей сестрой. Она продолжила обучение в коллеже Жанны д'Арк и выросла хорошенькой, с прекрасными локонами, обрамлявшими тонкое лицо. Мне же оставалось только спрашивать себя, какие еще тайны скрывались в нашей семье.

Хорошие оценки по богословию вполне сочетались и с моей верой, и с той благочестивой средой, которая меня окружала. Выходя к обеду, мы всегда произносили благодарственную молитву и по окончании трапезы молились тоже. Неукоснительно

соблюдался и ритуал вечерней молитвы. В дни католических праздников наши трапезы охотно разделяли священник и миссионер. По утрам я вставал раньше одноклассников, чтобы успеть до начала занятий посетить мессу — это давало мне право на снисхождение преподавателей.

Но, в отличие от братьев, я никогда не хотел быть мальчиком в хоре. Я любил саму церемонию. Обряд и связанные с ним волнения развивали мое поэтическое воображение. Впрочем, и озорству это не мешало: хорошо помню, как я, малыш, с сестрой подглядывал в замочную скважину за нашей тетушкой, монахиней из Швейцарии, наезжавшей к нам раз в год, чтобы узнать, что она прячет под вуалью. Мы с энтузиазмом доложили матушке, что сестра Серафика скрывает очень красивые длинные волосы. Излишне добавлять, что наградой за бесстыдство была строгая взбучка.

Можно ли после этого удивляться, что первые гомосексуальные порывы произошли у меня во время мессы, среди хоров, свечей и ладана, в мгновения духовного подъема и религиозного воодушевления?

Говоря по правде, впервые меня взволновал мальчик не тогда, а еще раньше. Однажды летом, за несколько лет до этого, когда отец уехал лечиться и взял с собой только меня, мы с сыном директора, моим одногодком, рассеивали скуку, возводя в глубине парка, окружавшего пансион, хижину из веток и листвы. За нами строго следили, а там нам нравилось прятаться. Ничего другого я припомнить не могу, но теперь, по прошествии лет, точно знаю, что именно там сделал первый шаг к будущей гомосексуальности.

Еще помню, мне было лет двенадцать или тринадцать, и однажды в Дьеппе я был сильно взволнован, даже чрезвычайно возбужден, зрелищем обнаженных юношей, игравших на пляже. Братья не следили за мной, их, конечно, занимали поиски летних любовных интрижек.

Не означает ли это с полной ясностью, что уже тогда я тянулся к мужчинам? Когда я понял, что я гей? Без сомнения, в один из таких или подобных, но позабытых мною эпизодов жизни. Еще будучи юношей, я осознавал, что это воздвигает стену между мной и близкими людьми. Мне было уже пятнадцать, и я спрашивал себя: как с этим жить, как такими становятся? Я жаждал ответа и был к нему готов[1].

Меня преследовало искушение рассказать обо всем исповеднику. Но смелые откровения доставили мне лишь страдания. После признания в обыкновенной мастурбации священник отказался дать мне отпущение грехов. Потом меня

ночи напролет преследовали адские видения и стыд греха. А он, сам возбуждаясь от моих отроческих комплексов, все продолжал дознание, естественным образом дойдя и до вопроса о гомосексуальных желаниях. В самых интимных уголках моей души он копался с бесстыдным вуайеризмом снимающей камеры. Полные провокационного смысла, его вопросы воспламеняли воображение или растравляли тоску. Ты сделал вот это? А то хотел сделать? С кем? Как? Где? Когда? Сколько раз? Ты испытывал удовольствие или стыд? После таких истязаний я уходил убежденным, что я настоящее чудовище.

Я долго был пленником цикла исповеди—причастия, где отпущение грехов является чем-то вроде таможенного пропуска от признания к облатке. Забывчивость, скрытность, слишком серьезное или, наоборот, недостаточное внимание к подробностям определенного рода и мое чувство вины удесятерились. Отрочество прошло под знаком неудовлетворенной тревоги, отдалявшей меня от окружающих. Я прекрасно понимал, что мальчики похитрее ловко избегали таких угрызений, не боясь взять на душу грех лжи. Отказываясь лгать, я наносил удар и по своим попыткам понять того, кто находил удовольствие в подчинении юных и хрупких душ. Моя ненависть к плутовству от этого только крепла. Необходимость лгать, терзая собственную совесть, казалась мне хуже всего. Страшно изувечили мою веру эти печальные минуты обязательной исповеди.

Между тем мне уже исполнилось семнадцать. Моя непохожесть на других, отличие от них проявились в пристрастии к моде «зазу». Исповедальня больше не слышала отчетов о моих эмоциях. Я отказался поверять тайны любви и наслаждения ушам избранных и призванных. Я стал настоящим геем. Очень скоро встречи с другими юными завсегдатаями площади Стейнбах в центре города открыли мне жизнь в акватории самых элегантных магазинов и в зале нижнего этажа музыкального кафе, появившегося еще при Луи-Филиппе. В центре этого зала стоял бильярд — но только для видимости. Здесь, в стороне от нескромных взглядов, завязывались интрижки юношей вроде нас с людьми повзрослее, при том что деньги не играли во всем этом никакой роли.

Встречи назначались в час аперитива. Шикарная публика, мерно раскачивавшаяся в такт музыке в зале на первом этаже, и не подозревала, какие минуты наслаждения мы дарили друг другу прямо у нее над головой. Эти свидания, не имевшие ничего общего с любовью, были только сексуальными утехами. Подобное подполье вполне устраивало и гомосексуалов из богатой

буржуазной среды, которые, заперевшись на ключ в номере, спокойно удовлетворяли все свои прихоти, после чего спускались на первый этаж, приветствуя встреченных знакомых, и шли к своей машине, в которой их часто дожидался личный шофер. Это были люди, очень уважаемые местной буржуазией, предпочитавшей не прислушиваться к недоброй молве, следовавшей за ними по пятам.

Когда на площади Стейнбах у меня украли часы, утрата любимого подарка подействовала убийственно. Особенно меня страшила реакция родителей и братьев. Как я буду объяснять исчезновение часов, которое они, конечно, сразу заметят? Я не мог сказать правду. Так ничего и не придумав, я пошел в полицейский комиссариат и заявил о краже.

Главный комиссариат Мюлуза находился за городским отелем. Меня приняли любезно, но мое смущение стократ усилилось, когда офицер, задававший мне все больше вопросов, узнал от меня о месте преступления и позднем часе его совершения и стал еще подозрительнее. Я покраснел, но решил рассказать всю правду. Правонарушением ведь была кража часов, а не моя сексуальная ориентация. Он показал мне, где подписать показания, и положил их в папку.

И тут, едва только я встал, чтобы уйти, он сделал знак: сядьте. Затем принялся мне грубо «тыкать». Может, я хочу, чтобы мой отец, с его-то самой безупречной репутацией во всем городе, узнал, где проводит время его семнадцатилетний отпрыск, вместо того чтобы сидеть дома? Я не хотел бросать ни малейшей дурной тени на репутацию семьи и начал рыдать. Теперь уже не знаю, были ли это слезы стыда или, наверное, обиды от того, что я попал в ловушку. Во всяком случае, я слишком поздно понял, каким наивным был мой поступок.

Офицер, унизив и напугав меня, в конце концов смягчился: на сей раз это неприглядное дельце останется между ним и мной, мне достаточно будет просто больше не посещать это место, пользующееся дурной славой. Потом он отпустил меня. Придя в комиссариат гражданином, которого обокрали, я покидал его опозоренным «гомосексуалистом».

Этот случай действительно не имел последствий ни в семье, ни в общественной среде, где я вращался. Вора так и не нашли, и этот эпизод память сохранила просто как неприятное приключение. Я понятия не имел, что мое имя занесли в полицейское досье городских гомосексуалов и через три года родители именно из него узнают о моей ориентации. Но можно ли было вообразить, что из-за этого я вскоре попаду прямо в лапы нацистов?

ШИРМЕК - ФОРБРЮХ

Шел 1939 год, до начала войны с Германией оставалось всего несколько месяцев. Гитлер уже шесть лет полновластно хозяйничал по ту сторону Рейна. В общественных местах я чаще, чем раньше, слышал слово «еврей», его произносили с особым нажимом. Людей с «огненным крестом» уже нередко можно было увидеть на улицах Мюлуза, они ходили не скрываясь, иногда устраивая акции группового насилия. В такие дни мои родители опускали ставни кафе-кондитерской и завешивали окна матрацами, чтобы защититься от пуль погромщиков.[2]

Потом Германии объявили войну. Моих братьев мобилизовали одного за другим в призывные категории 34, 35, 37 и 39. Началась «странная война». «Линия Мажино» была нашей гордостью. Самые молодые жители Мюлуза любили прокатиться туда на велосипеде, чтобы убедиться в бездействии новобранцев. Мы были уверены, что столкновения быть не может. Эльзас, лакомый кусочек для рейха с его жаждой реванша, недооценивал масштабы опасности.

Грохот марширующих сапог и проклятья с государственной трибуны по адресу непокорной Франции с призывом врезать ей как следует вызывали только забавные и саркастические комментарии. Карикатуристы зубоскалили вовсю. Раньше всех забеспокоились наши друзья евреи. Они бросились уезжать из Эльзаса целыми семьями, выбирая для бегства места подальше от опасной близости рейха. Многие из них просили нас, пока идет война, сохранить их ценные вещи, и мы складывали их в подвале.

Во время «странной войны» все мои братья покинули семейное гнездо. Я наконец вырвался из-под опеки, а отца поглотили совсем другие дела. Я, как единственный сын, не призванный под знамена, сблизился с сестрой и матерью. В воскресные дни я имел право на лиловую пятифранковую банкноту, которой с лихвой хватало и на церковные подаяния, и на билет в кино на улице Корсо. Это был прелестный театрик, переоборудованный в кинозал, где были даже маленькие балкончики, на которых кое-кто ухитрялся прямо на полу «перепихнуться», конечно, когда свет был уже погашен.

Меня назначили ответственным за почтовую связь с братьями, ушедшими на фронт. Мама часто диктовала мне письма. Кучу запечатанных конвертов я нес на вокзал и там отправлял. Так у меня и осталась привычка разбираться со всей корреспонденцией перед тем, как лечь спать.

А вот моя личная жизнь изменилась довольно круто. Уже

несколько месяцев я не заключал в объятия людей малознакомых, предпочитая только тех, кого отмечала моя чувственность. Я познакомился с Жо, добрым и нежным юношей. Вместе мы часто и охотно проводили чудесные минуты. Как только появлялась возможность, старались укрыться от остального мира. Я рассказывал ему о первом смятении чувств, о лете в Дьеппе, о путешествиях, которые были настоящим познанием жизни. И он тоже был со мной откровенен. Между нами возникла очень крепкая связь, и ее не стерли из моей памяти ни время, ни страдания, ни смерть.

В июне 1940 года «странная война» перестала быть странной. Перейдя в Бельгии линию Мажино, немцы хлынули во Францию, не встретив ни малейшего сопротивления. Переправиться через Вогезы оказалось сущим пустяком для этой армии, чью ошеломляющую энергию мы недооценивали.[3] Они триумфально вошли в Мюлуз: в безупречной амуниции, начищенных до блеска сапогах и мундирах с иголочки. Наша семья смотрела на все это со слезами. А вот сосед был полон злорадного ликования.

Мы думали о всех моих братьях, от которых не было весточки с самого начала этого молниеносного вторжения. Следом за триумфальным маршем по дорогам потянулись колонны пленных. Великое множество людей дни и ночи без перерыва брело к Рейну. Мы раздавали им июньские вишни, воду или пирожки.

Немцы смотрели на это сквозь пальцы, однако следили, чтобы пленники не останавливались. Впрочем, толпа была такой плотной, что остановиться было и невозможно, людей будто несла волна. Смертельно усталые, набросив что-нибудь на плечи, они шли в лагерь для пленных на территории Германии. Мы с сестрой, часами смотревшие на них, словно прилипнув к стене нашего дома, выкрикивали имена и фамилию наших братьев. Кое-кто таким способом получил хоть какие-то известия о своих родных. Но в нашем случае это не сработало.

После полного разгрома и разрыва Версальского мира мы оказались под немецким сапогом[4]. Началось выселение нескольких сотен тысяч нежелательных эльзасцев. Новые власти сразу приказали закрыть Страсбургский собор и выслали епископа де Меца.[5] Французский язык и некоторые местные диалекты оказались под запретом. После подписания перемирия три департамента Верхнего Рейна, Нижнего Рейна и Мозеля, отвоеванные Францией в 1918 году, были грубо аннексированы в нарушение условий соглашения. Волею судьбы нам пришлось раствориться в великой Германии. Нас присоединили к областям Бад и Сарр-Палатинат.[6]

Местная администрация перешла под начальство Роберта Вагнера и Йозефа Бюркеля, двух старых приятелей и давних сторонников фюрера. Приказы исходили напрямую от рейхсфюрера Генриха Гиммлера, главы черного легиона СС, и даже от самого Гитлера, ибо оккупанты хотели как можно скорее решить на высшем уровне вопрос о быстром покорении этого региона. Я множество раз слышал разговоры о том, что Виши предал нас, продавшись Гитлеру.

Учебу пришлось прервать. Школьный курс, пройденный мной в школе де Фрер и в лицее, был вполне солидным. Наши родители, как и положено, обсуждали профессиональное будущее каждого из детей между собой, прежде чем поговорить об этом с нами. Речь шла об определении наших желаний и способностей, которые мы хотели усовершенствовать после окончания общего образования.

Что до меня, то я, если война не перевернет уж совершенно все, хотел бы целиком посвятить себя текстильному делу. Мы с родителями навели справки об известной школе в Лилле. Еще во время учебы в лицее я стажировался на нескольких предприятиях. Я любил ремесло ткачей и движение игл ткацкого станка. Работать там было трудно, это требовало внимания и запоминания цветов, потому что ткань быстро покрывалась пылью. Мне хотелось как можно больше узнать обо всех секретах ткачества, и я понимал, что в этом деле всегда нужны специалисты. Попробовал я себя и в настоящем творчестве — с удовольствием сделал множество набросков мужской и женской одежды.

Но шла война, и свои желания приходилось держать при себе. Знаний у меня было не меньше, чем у немецкого старшекурсника, а на вечерних курсах я завершил образование. Эти курсы теперь обязательно проводились только на немецком языке.[7]

Тем не менее я получил С.А.Р. — диплом бухгалтера, декоратора и продавца. У Шваба, на улице Соваж, я нашел торговый лоток, маленькое еврейское предприятие, угодившее под секвестрование оккупационными властями.[8] Без сомнения, предчувствуя большую опасность, этот торговец текстилем арендовал несколько автокаров и вывез все имущество. Так ему удалось переправить самое ценное, что хранилось у него на складе, в район Бельвиль-сюр-Аллье, возле Виши, где у него был собственный летний дом. Позже ему удалось сбежать в Америку, и возвратился он только после Освобождения. А еще позже, когда мой отец был уже при смерти, купил у нас дом на улице Соваж, чтобы расширить свою торговлю.

Улица Соваж, или «улица Дикаря», была торговой артерией,

тянувшейся через всю центральную часть Мюлуза. «Дикарем» называлась статуя рыцаря в доспехах, установленная на краю одного из фасадов. На первом этаже этого дома было кафе «Железный парень».

Однажды отец знаком подозвал меня к окну. «Смотри, что за мерзость они творят!» — воскликнул он. Оккупант как раз снимал табличку с названием улицы, висевшую напротив нашего дома. Они имели обыкновение менять название главной улицы каждого завоеванного города, называя их все именем своего фюрера. Улица Соваж превратилась в улицу Адольфа Гитлера... Слух о перемене названия быстро облетел город, и люди, ежедневно проходившие мимо этой таблички, непременно подхохатывали в кулачок. Вот теперь-то наконец стало понятно, кто этот «дикарь». Лондонское радио рассказало о том, как опростоволосились нацисты. Поняв свой промах, они снова поменяли название, и теперь улица Соваж в немецкой интерпретации называлась скромнее: «Вильдеманштрассе».

Начались облавы. Однажды эсэсовцы пришли к нам за одним из подручных, работавших у отца. Мы очень забеспокоились, ведь Альбер Дрейфус был евреем. Пронеслись слухи: всех, кто был арестован в тот день, содержат во дворе полицейской префектуры, их можно увидеть через решетки. Мы побежали туда. Нас ожидало жуткое зрелище. Наш подручный ползал на четвереньках вместе с другими такими же, как он, рвал росшую меж камней траву и поедал ее под ударами эсэсовских сапогов и под плетками надсмотрщиков. Мы стояли по другую сторону решетки, ошеломленные от стыда и бессилия. Оккупанты ясно давали понять, что могут сделать все, что им заблагорассудится. Больше мы никогда не видели Альбера Дрейфуса.

Новая администрация оккупационных войск появилась очень быстро. Начальниками кварталов стали те, кто давно симпатизировал Гитлеру, большинство из них было нам незнакомо. Мы и не подозревали, что вся подпольная сеть была в готовности еще до вторжения. А теперь они не мудрствуя лукаво заняли командные посты.

У меня в классе был приятель, который нередко приходил к нам в дом. Мы познакомились в школе де Фрер. Часто спорили о правилах французского правописания. Он был сыном немца, хозяина большого часового магазина в центре города. За несколько дней до прихода оккупантов он, в униформе гитлерюгенда, прогитлеровской молодежной организации, с нашитой на нарукавнике свастикой, позвонил в дверь дома моих родителей и принялся расхваливать эту организацию и уговаривать меня присоединиться к ним. Он меня запугивал. Я не

захотел слушать его, и он ушел. Много позже я думал, что он мог быть среди тех, кто донес на меня.

Утвердив на оккупированных зонах административную власть, немцы получили доступ к полицейским картотекам. Захват всей территории обязывал власти подготовить и передать в полное распоряжение победителей все документы, накопившиеся на момент передачи полномочий. И тут встал вопрос о совершенно нелегальном существовании картотеки гомосексуалов.[9] Согласно кодексу Наполеона, за однополый секс не подвергали наказаниям еще с 1792 года — вот как давно погасили костер, предназначенный для казни. Виши издал свой антигомосексуальный закон только в 1942-ом.

Я еще не знал о страшных чистках среди немецких гомосексуалов, которые нацисты проводили начиная с 1933 года.[10] В Эльзасе поговаривали просто об их высылке ближе к границе, в свободную зону — в Лион или Бург-ан-Бресс. Вспоминаю одного друга, парикмахера из Мюлуза, чей скоропалительный отъезд был уж слишком похож на принудительное выселение. Нежелательные элементы должны были уехать в самый короткий срок, имея право взять с собой не более тридцати килограммов багажа. От излишнего усердия или от явного недоброжелательства французские власти положили это досье в общую папку — не знаю.[11]

Следить за гомосексуалами было столь давней традицией полиции, что, если уж говорить правду, никто и не ожидал, что это когда-нибудь прекратится. А уж теперь внезапность вторжения и последовавшее за этим общее смятение еще удвоили жестокость, особенно с таким документом на руках, который, как и в Германии, долгие годы служил поводом и для легкого шантажа, и для арестов и организации облав, и для получения дополнительной информации посредством пыток и бессудного заключения в тюрьму.

Мне и в голову не приходило, что за интриги плелись в недрах гестапо. Я продолжал ходить на вечерние курсы, встречался с другом Жо и иногда навещал все ту же маленькую компанию на площади Стейнбах. Но с появлением оккупационных патрулей, имевших право стрелять в любую движущуюся тень после комендантского часа, мои ночные вылазки стали реже. Иногда на городских улицах мы сталкивались с другими группками людей, такими же неприметными. Это были отряды, имевшие своих тайных наблюдателей, с помощью которых они срывали приказы немецкого командования, заменяя их патриотическими призывами к сопротивлению. Мы охотно присоединялись к ним. В

те мюлузские ночи еще существовали дружба, взаимовыручка и любовь к отечеству.

Я снова стал приходить на свидания в музыкальное кафе.[12] Наши добрые буржуа гомосексуальной ориентации просили нас, самых юных, не удостаивая даже малейшими объяснениями, сослужить им службу, то есть отправить письмецо такому-то или такому-то. По их поручениям мы относили эти таинственные послания на вокзал, где из-за молодости не вызывали у часовых никаких подозрений. Мы исполняли все их просьбы, даже не догадываясь о том, как это опасно. А ведь в таких обстоятельствах любой из нас, молодых, не имевших никакой связи с отрядами Сопротивления и не осознававших, чем они рискуют, вполне мог быть арестован, подвергнут пыткам, а потом отправлен в лагерь, став жертвой без всякого понимания причин.

Тут надо все-таки сказать, что некоторые геи, как с улиц, так и из буржуазной среды, не обращая внимания на опасность, открыто отказывались сотрудничать с нацистскими оккупантами. Но я был арестован слишком скоро, чтобы составить подлинное представление о подпольной сети, в скором времени появившейся в Эльзасе.

Возвращаясь домой после рабочего дня, я частенько проходил через магазинчик родителей. Мне было уже восемнадцать, но я все еще с аппетитом маленького бутуза мог умять сразу несколько шоколадных эклеров, так что мама, зная, что я за лакомка, даже пересчитывала их глазами.

Это случилось 2 мая 1941-го. Мама, стоявшая за кассой, показалась мне более нервной и озабоченной, чем обычно. Она сказала, что приходили из гестапо, куда меня вызывают на следующее утро. Это был недобрый знак. Она спросила, что я натворил. Я ответил, что ничего не понимаю, но сам сразу подумал об этих загадочных посланиях, которые нас иногда просили отправлять.

Я провел полную тревоги ночь. Вопросы беспрерывно лезли в голову. Я слишком хорошо знал, что гестапо делает все, что хочет. Что могло случиться? Жертвой какого доноса я оказался и кто написал его? Мои мысли были очень далеки от забытого момента в прошлом, который я вспомнил слишком поздно, уже утром, когда мне освежили память.

В ранний час я уже был в гестапо с повесткой в руках. Едва я успел прочесть свое имя на листе, висевшем на двери, как меня грубо втолкнули в комнату, быстро заполнившуюся дюжиной молодых людей. Некоторых я знал в лицо. Мы молча ждали. Потом каждого ставили прямо перед столом — это было в разных комнатах.

И вот я оказался лицом к лицу с офицером СС, который, с силой захлопнув мое досье, обозвал меня «швайнхунд», или «сучья свинья», что означало «грязный педик».[13] Это было еще только начало допроса. Знаю ли я других гомосексуалистов? Их имена и адреса? Слышал ли я что-нибудь о таком-то или таком-то? Правда ли, что этот священник любил много молодых прихожан? В каких местах мы обычно встречались? Он явно знал куда больше, чем я. Я держался смирно.

Немцы хотели выманить у меня что-нибудь, чтобы подготовить западню для некоторых горожан. Но, позвольте, откуда стало известно, что я гомосексуал? И тут-то мне показали протокол, подписанный мною в семнадцать лет, где я заявлял офицеру французской полиции о краже часов в сомнительном месте. Там стояла моя подпись. Я не смог доказать, что я не гей. Тех, кому судьба подарила такую возможность, просто выслали за пределы территории, их не было среди интернированных.[14]

На меня обрушился град ударов. Эсэсовцы за столом все время менялись. И каждый раз допрос начинался одинаково: имя, фамилия, дата рождения, имена и адреса знакомых «гомосексуалистов». Они сменяли друг друга и кричали, угрожали, били. Их целью было выпотрошить нас, усмирить, погасить последнюю искру сопротивления. Повторив одни и те же показания, те же самые отпирательства раз по двадцать в течение десяти часов, мы наконец увидели, как из папок достают листы с записанными показаниями. Нужно было подписать их. Подтвердить, стоя коленями на рейках, что все эти имена и есть список «гомосексуалистов Мюлуза». От наших криков дрожали даже стены. Иногда нас вели в другой служебный кабинет. Там требовалось опознать других подвергнутых пыткам людей, которых тоже взяли в этот день. Тогда наши взгляды встречались, и в них был ужас.

Сперва мы пытались как-то противостоять страданиям, но это очень скоро стало невозможно. Колесо насилия раскручивалось с ужасающей скоростью. Взбешенные нашим сопротивлением, эсэсовцы принялись вырывать нам ногти. В ярости они переломали рейки, на которых мы стояли коленопреклоненные, и изнасиловали нас ими. У нас были разодраны все кишки. Кровь хлестала отовсюду. И сейчас еще у меня в ушах стоят полные страшных мук вопли.

Когда я снова открыл глаза, мне показалось, что я попал в подсобку мясной лавки. Я не мог вообще ни о чем думать. Мучения убивали даже робкую попытку мысли. Настоящее насилие, разрушающее все на своем пути. Но для наших истязателей это была самая ничтожная из побед. Ведь когда я

подписал, как и другие, этот документ, чтобы только перестать страдать, он сразу же так набух кровью, что его невозможно стало прочесть.

День догорел за окнами гестапо. И когда опустилась ночь, нас без суда и следствия перевезли в мюлузскую тюрьму. Прием был не из лучших. Меня бросили в переполненную камеру, темную и сырую. Я попробовал найти место в этой тесноте. Последним моим желанием в этот уходящий день, без сомнения наихудший в моей жизни, было просто рухнуть. Вокруг стонали или дремали полдюжины таких же арестантов. Просто опираясь о стену или присев на землю, ведь их было много.[15] Присмотревшись, я увидел, что у многих были распухшие лица в кровоподтеках — над ними учинили настоящую расправу.

После долгого ожидания кто-то в глубине камеры уступил мне место у стены. Я встал в дарованный мне закуток. Он был хуже других: из стены сочилась вода, от которой веяло ледяным холодом. Уступить место последнему из новобранцев в самом негостеприимном углу камеры — это говорило о том, что человеческая солидарность тоже имеет границы. Я сказал себе, что ничто не мешает нам, жертвам одного и того же чудовищного насилия, и между собой тоже сделать кого-нибудь козлом отпущения. И заснуть смог, только когда упал, совершенно лишившись сил.

Десять дней и ночей пробыл я в тесной камере, среди такой жестокости. В этой драме тяжко пришлось каждому арестанту. Общение сводилось к минимуму, ибо здесь царила всеобщая подозрительность и каждый замыкался в своем одиноком страдании. Лишение свободы — вещь столь чудовищная, что равной ей можно признать лишь пытку.

Один из братьев пришел навестить меня. Встревоженные тем, что я не вернулся домой, они с отцом на следующий день пришли посмотреть, что происходит в гестапо.[16] Им удалось узнать, что меня держат в городской тюрьме. Эсэсовцы еще прибавили, что я всего лишь «швайнхунд», в немецком языке — грязное ругательство, смысл которого был совершенно ясен. В такой унизительной форме суждено было моим близким узнать наконец о моей гомосексуальности. Глубочайшая рана, как для них, так и для меня самого. Мой брат предупредил меня, что с гестапо разговаривать бесполезно, у них на все свой закон, и адвокаты не смогли ничему помешать. Я остался совершенно один.

На рассвете 13 мая 1941 года меня бросили в полицейский фургон, запертый снаружи на замок. Нас было около дюжины. Он миновал центр и поехал пригородами Мюлуза. Куда нас везли? Глядя в щели, кое-кто решил, что это дорога на Бельфор. Это

могло означать отправку к границе, выселение в свободную зону, то есть самый лучший для нас выход.[17] Но нельзя было не понимать очевидного: на самом деле дорога вела прямо на север, в направлении Кольмара и Страсбурга, или, точнее, к лагерю в Ширмеке в долине Де-ля-Брюш.[18]

Вдоль дороги в ущелье Донон, в тридцати километрах к западу от Страсбурга, французы в период «странной войны» на скорую руку понастроили ряды бараков, чтобы население прифронтовой полосы временно могло разместиться там в ожидании последующей эвакуации. Потом оккупанты реквизировали все эти постройки, за счет них расширяя в Эльзасе места заключения. По другую сторону Рейна различные организации быстрого интернирования действовали уже несколько лет.

Минуло одиннадцать месяцев, как сдался Страсбург, и гестапо, устроив свой штаб прямо в префектуре, занялось налаживанием разнообразных разведсетей среди коллаборационистов и осведомителей. Процент задержанного и депортированного населения в Эльзасе был в семь раз больше, чем во всей остальной Франции. Этих людей надо было где-то размещать. Вот потому-то, спустя всего несколько недель после оккупации, в Эльзасе появилась сразу дюжина лагерей для перемещенных лиц, лагерей переподготовки для интернированных и просто концентрационных. Первые сто пятьдесят граждан Франции и Эльзаса вступили в лагерь Ширмека в понедельник 15 июля 1940 года.

Ширмек располагался неподалеку от населенного пункта Ля-Брок. Поэтому лагерь, находящийся там, часто называли лагерем Форбрюх, что было просто переводом на немецкий названия Ля-Брок. По тем же причинам и концентрационный лагерь Штрутгоф, построенный год спустя заключенными лагеря в Ширмеке — в том числе и мной, — иногда упоминался под названием Нацвайллер[19].

В тот же день, 13 мая 1941 года, выехав из штаба гестапо в Мюлузе, французский полицейский фургон остановился возле ворот лагеря в Ширмеке. Нашим глазам предстали бараки, окруженные двойной оградой из высоких решеток. По всем четырем сторонам находились наблюдательные сторожевые вышки, на которых стояли вооруженные люди. Охранники, сплошь немцы, носили на отворотах гимнастерок и на касках изображение черепа — зловещий знак. Нас выпустили из фургона. Мы вышли, предчувствуя самое худшее. Тюремный фургон сразу уехал.

Нас встретили градом ударов. Ужас охватил нас целиком.

Нам приказали бежать, ползти, потом снова бежать и снова ползти. Вскоре то, что еще оставалось от нашей цивильной одежды, окончательно превратилось в лохмотья. За выкрикиванием приказов непременно следовали удары, их наносили подходившие к нам люди из СС.

Потом, после ледяного душа, меня вместе с другими побрили. Мои волосы, подстриженные по моде «зазу», остались на полу помещения интенданта. Зазу, разумеется, были ненавистны нацистам, уже давно истребившим культурный авангард Германии по ту сторону Рейна, запретившим джаз и все остальное, хоть чуть-чуть выделявшееся, под лозунгом искоренения дегенеративных тенденций в немецкой культуре и наглой заносчивости по отношению к новому порядку. А поскольку я был зазу, то меня удостоили особой пытки. Заключенный, которому поручили меня обрить, содрал мне кожу на голове, ибо, состригая волосы, обязан был выстричь знак свастики.

Так прошло мое знакомство с лагерем под взглядами других арестантов. Отобрав рваную и грязную одежду, нам выдали униформу узников — робу и штаны из грубой ткани с вырезом спереди. Мне, как и другим привезенным сюда в полицейском фургоне, дали робу с таинственной маленькой нашивкой голубого цвета и пилотку. Это и была классификация заключенных, довольно трудный для расшифровки код, понятный только нашим тюремщикам. Голубой цвет, как я позже узнал, означал, что я католик и антиобщественный элемент.

В этом лагере такой знак означал еще и гомосексуалов.[20] В Германии депортированных геев уже обозначали розовым треугольником. Этого знака я не знал и в лагере Ширмека никогда не видел. Я познакомился с ним позже в соседнем лагере Штрутгофе.

Своя нашивка была у каждого узника. Те, кого отметили красным треугольником, нарисованным или нашитым, были политической оппозицией, в основном коммунистами; их привозили в лагерь Ширмека совсем ненадолго, чтобы быстро увезти туда, где их, без сомнения, ждала еще более страшная участь. То же можно было сказать о евреях, которых отмечали желтой звездой, и о цыганах, чей цвет был каштановым: их депортировали только для того, чтобы сразу уничтожить.[21]

Лагерь в Ширмеке был полицейским, «Зихерунгслагер», и содержали здесь заключенных самого разного пошиба; единственное, что было между ними общего, — они все вызывали ярость у нацистов: здесь «собрались» священники, проститутки, испанские республиканцы, дезертиры из нынешней немецкой

армии и дезертировавшие из нее в прошлом, во время войны 1914-1918 годов, уехавшие на французские земли, спекулянты черного рынка, слишком мало сотрудничавшие с немцами, или британские летчики, плененные во Франции.[22]

За нашей колючей проволокой не было детей. Но в бараках в глубине лагеря и располагавшейся там же прачечной жили женщины. Командовали ими, причем явно с большой охотой, четыре молодые эльзаски-надзирательницы, такие же зверски жестокие, как и эсэсовцы. Эти узницы должны были стирать эсэсовцам белье. В ночной тишине мы часто слышали их жуткие вопли, жалобы и рыдания.

Я убедился, что контроль в лагере был тотальным и даже робкая попытка восстания будет подавлена в ту же минуту. Побеги из лагеря Ширмека были больше чем редкостью. За четыре года успехом увенчался лишь один: переодевшись в форму СС, четверо уцелевших участников Сопротивления ухитрились с заднего двора гестаповского гаража беспрепятственно пробраться к воротам лагеря и затеряться без следа далеко в горах еще до того, как был объявлен сигнал тревоги.

Зато тем, кого привозили сюда снова или кто пытался где-то рассказать о том, что он здесь видел, мстили не просто жестоко. Расплатой за проступок были от двадцати до ста восьмидесяти ударов дубинкой, наказываемого привязывали к табуретке или сажали на бочку. Иногда эсэсовцы надевали сверху мешок, чтобы не было заметно следов от ударов, отнюдь не становившихся от этого слабее.

Только в конце второго года существования лагеря в Ширмеке о нем узнала эльзасская пресса. В напечатанной в газете заметке говорилось об одном эльзасце, отправленном в лагерь «на перевоспитание» и замученном немецким функционером. Но слухи об этом появились уже давно. За четыре года через этот лагерь прошло 15 000 эльзасцев.

Ни один из ширмекских кошмаров меня не миновал. Очень быстро я превратился в жалкую марионетку, вихляющуюся на ниточках под улюлюканья эсэсовцев, вынужденную исполнять любые приказы и выполнять задания, забирающие все силы, опасные или попросту невыполнимые.

Вырванные из сна в шесть утра, мы жадно поглощали жидкую баланду с четвертушкой «коммисброта», что-то вроде черного хлеба, всегда черствого и заплесневелого. После переклички большинство уходило в долину дробить скалы в карьерах, расположенных вокруг лагеря, и потом грузило камни в вагонетки.[23] Эсэсовцы сторожили нас с немецкими овчарками, чтобы никому не вздумалось бежать в лес. Другим приходилось

работать по одиннадцать часов без перерыва на заводе маршала де Вакенбаха.

Около полудня нам давали водянистый суп с кружочком колбасы. По возвращении в лагерь тщательно обыскивали. Затем мы расходились по баракам. День завершали две ложки похлебки из брюквы. Когда заканчивалась последняя перекличка, бараки запирались на два оборота ключа, и ночные обходы начинались еще до того, как солнце скроется за вершинами гор. Изнуренный, одичавший, я пытался поймать хоть чей-то взгляд, перекинуться хоть парой слов с такими же истощенными призраками, каким был сам. Но дни шли за днями, и я оставил попытки. Я понял, что любой контакт был здесь не то что немыслим — просто опасен: лагерь походил на муравейник, где каждый бежал выполнять свое абсурдное задание. Даже ходить поодиночке запрещалось, а сказать друг другу можно было разве что несколько ничего не значащих слов.

Мы, например, обязаны были, увидев валяющийся на земле крохотный кусочек бумаги, тут же поднять его и спрятать в карман. Эсэсовцы забавлялись, специально разбрасывая клочки и наблюдая, как мы бегаем, словно псы. А бывало, порой кое-кто из них бросал клочки почти у самой запретной зоны, в двух метрах от колючей проволоки, обозначавшей границы лагеря. Тех, кто бежал туда подобрать клочок бумаги, расстреливали в упор якобы за попытку к бегству. Но и тех, кто отказывался повиноваться, ждала та же участь — за неповиновение приказу.

Утром по воскресеньям ритуалом руководил сам начальник лагеря, гауптштурмфюрер Карл Бук. Нас в полном составе выводили на перекличку. Присутствовать были обязаны даже заболевшие арестанты. Выходя из санчасти, они вставали в строй, дрожа от лихорадки, или их приносили на носилках. Воскресный восход солнца вдохновляюще действовал на Карла Бука. Витиеватыми речами о достоинствах нацистской Германии, со свастикой на груди, он отечески увещевал свою недозрелую аудиторию.

Мы, отбросы общества, должны победить наше собственное упрямство, лицезрея блистательную судьбу великого рейха. Нашей единственной ценностью должен стать национал-социализм. Но ведь мы настоящий сброд, и «перевоспитать» нас — задача не из легких. Он любил порассуждать о зле, какое несла в себе религия: священники, которых его адъютант Роберт Вунш с особенным удовольствием избивал дубинкой почти до смерти, были для него только «химмельскомикер», то есть «небесными комедиантами». Он призывал к яростной борьбе с анархией, потому что только так можно было проучить интернированных из

Испании после войны республиканцев. Хвастаясь, что сам воевал в Испании, он перечислял нам свои подвиги. Напоминал нам, что возможность сбежать отсюда — не более чем иллюзия. Мы слушали молча, окруженные надсмотрщиками. Невозможно было разговаривать, даже шептаться. Неподалеку от оратора, на виселице, вокруг которой вились стаи ворон, часто раскачивались по нескольку трупов — они составляли «декор».

В действительности этот бахвал, эта сорокашестилетняя гадина, просто был старым безработным, который, как еще столько подобных ему, записался в 1933 году в НСДАП, национал-социалистскую партию. Всего через две недели его произвели в капитаны СС и сделали уполномоченным по лагерям. Ему уже приходилось руководить концентрационными лагерями в Хойберге и Вельцхайме в Германии. Его деревянный протез руки не имел никакого отношения к испанской Гражданской войне: эту память ему оставила унизительная война 1914—1918 годов. Приходя в бешенство, он пользовался им как дубинкой.

За несколько месяцев Карл Бук удвоил вместимость лагеря в Ширмеке. Позже, в 1943-м, он приказал построить «зал для празднеств» — огромное строение с ведущими внутрь ступеньками, на фронтоне которого были изображены германский орел и свастика. Это здание вмещало до двух тысяч человек, внимавших его торжественным выступлениям, за которыми следовала демонстрация пропагандистских кинофильмов. Под этим «залом для празднеств» построили двадцать шесть карцеров. Некоторые из них были камерами пыток, до самого потолка забрызганными кровью. А если еще оставались так и не «перевоспитавшиеся», их, по личному приказу Гиммлера, увозили в направлении Штутгарта, где они заканчивали свою короткую жизнь в страшных муках. Но даже эта формальность не использовалась, если речь заходила о русских или поляках: их могли расстрелять в упор в любой момент. В их досье вполне достаточно было черкануть обычную формулировку «убит при попытке к бегству»[24].

Как только заканчивалась перекличка, каждый устремлялся на свою каторжную работу, причем всегда бегом. Не могу припомнить, чтобы хоть раз в античеловеческом мире, в котором пребывали около шестисот человек, они отправились бы на работы нормальным шагом. Если мы не бежали в карьер, то оставались в лагере. Нам приходилось выравнивать дороги, ведущие к баракам, волоча дорожный каток, ремни которого глубоко врезались нам в животы. Или, не жалея воды, драить стены всех бараков, а то и ухаживать за цветочными клумбами под окнами коменданта. Содержание лагеря должно было быть

безукоризненным, а рапорты в Берлин — хвалебными. Карл Бук иногда приглашал сюда своих подельников из местных властей; их мнения должны были быть только положительными.

Но когда не было запланированных визитов такого рода, он никогда не перемещался по территории лагеря пешком. Карл Бук усаживался за руль своего черного «ситроена», машины с ведущими передними колесами, и мчался вдоль дорог на всех парах. Нужно было успеть броситься врассыпную, не забыв при этом на бегу приветствовать гауптштурмфюрера. Самых рассеянных и неловких он иногда давил. И черный астероид проносился, как смерч, по всем извилинам дорог вокруг бараков, не останавливаясь никогда.

Громкоговорители у нас над головами передавали классическую музыку: Баха, Бетховена, Вагнера, и военные марши. Эти мощные звуки прерывались сообщениями, приказывавшими такому-то заключенному явиться к властям, в хозяйственный отдел или в медсанчасть. Меня тоже так иногда вызывали. Надо было дополнить досье, которое было заведено на меня еще отделением гестапо в Мюлузе. Мне снова задавали те же вопросы. Так-таки мне совсем уж нечего добавить к уже сказанному? Они считали, что моих куцых сведений о нравах и обычаях городских гомосексуалов недостаточно. Я был так юн, что мог вызнать некоторые интересующие их секреты. Зачем это глупое сопротивление? И они охотно напоминали мне, что в любую минуту могут заставить меня разговориться.[25]

В горах весенние ночи 1941 года были прохладными. В центре каждого барака установили черную печь, на которой в удачные дни можно было сварить какую-нибудь случайно найденную пищу и утолить голод. Населявшие барак узники объединялись в компании по своим взглядам, иногда политическим, и это немного облегчало чувство изоляции и тяжесть каждого дня. Я не входил ни в одну из этих групп солидарности человеческой. Нося голубую ленту, значение которой было быстро понято моими товарищами по несчастью, я понял, что мне нечего ждать от них: сексуальная вина могла стать лишь дополнительной тяжестью среди тюремного равенства. Позже я убедился в этом, когда мне случилось посетить тюрьму в Руане. В мире заключенных я был нежелательным звеном, недоноском, постоянно рискующим оказаться жертвой насилия со стороны любого, существом, состояние души которого никто не принимал во внимание, всячески зависимым от капризов и прихотей надзирателей.

В конце дня, после всех физических и моральных унижений, мы падали на соломенные тюфяки, голодные и измученные. В

бараки, каждый из которых был рассчитан на пребывание сорока пяти заключенных, набивалось до ста сорока человек. Деревянные нары стояли в два, а то и в три этажа. Брошенные прямо на доски, наши соломенные тюфяки были попросту набитыми соломой мешками, которые поднимали столько пыли, что спавший на них легко мог задохнуться. Естественно, самыми желанными были высокие нары, расположенные близко к очагу. Часто наши надзиратели, ища возможные тайники, сбрасывали все на пол или даже без всяких объяснений уводили узника в другой барак. И битва за спальные места возобновлялась. Она была упорной, ибо редкие часы сна ценились нами на вес золота.

На нары, расположенные над моими, положили молодого человека, который по ночам очень тяжело дышал, и у него часто случались приступы астмы. Медсанчасть снабжала его эвкалиптовыми сигаретами, чтобы он не так задыхался, но другие заключенные воровали их. Он не осмеливался пожаловаться, и ночные приступы становились все тяжелее, теперь они просто не давали заключенным заснуть. Несчастье случилось потому, что из барака поступили жалобы на пропажу драгоценных горбушек хлеба, выпрошенных вперед кое-кем из нас для вечерней трапезы. Молодой астматик был публично обвинен в этой мелкой краже теми узниками, кто отвечал за порядок в бараке.

Несчастного подвергли несправедливому наказанию. Он прекрасно понимал, сколь неумолимой была угроза репрессий. Но, пожаловавшись в СС, сам сделал свою участь еще тяжелее. Придуманная для него расправа заключалась в том, что его завязали в мешок, который мы, один за другим, в меру своей озлобленности, должны были бить ногами. Каждый удар, полученный этой искупительной жертвой, по месту, в которое старательно прицеливались, причем больше всего доставалось голове и половым органам, немного уменьшал чувство унижения от насилия, которому подвергались мы сами. С распухшим лицом и окровавленным телом его отправили в медсанчасть. Скоро он ушел из нашего барака и исчез. Немного позже мы услышали о его смерти.

Живя среди самых молодых узников лагеря, я боялся привлекать излишнее внимание. В перерывах между двумя нарядами на работу я всячески старался ни с кем не заговаривать и замыкался в одиночестве отчаянья, не допускавшем даже намека на сексуальное желание.[26] Сама мысль о желании была невозможна в этом пространстве. Призрак не имеет ни лица, ни сексуальности. Каждый из нас был один среди множества. И только в краткие мгновения, когда мы могли рассмотреть друг друга в тишине, я видел некоторых из тех, кто был в том фургоне

13 мая 1941 года, и замечал знакомые лица. Но узнать в них прежних людей было очень трудно — так наши нелепые робы, бритые головы и истощенные тела меняли возраст и внешность.

Мы превратились в пошатывающиеся скелеты. Оказавшись в положении безмолвного наблюдателя, я, конечно, видел и понимание, и сочувствие, но эти случаи были очень редкими. Например, вспоминаю двух чехов, явно давних любовников, которым время от времени удавалось обменяться парой фраз, встав лицом к окну нашего барака. Они поворачивались ко всем спиной и просто смотрели на отражение друг друга в стекле, когда этого никто не мог заметить.[27] Но теснота и страх доносов почти не оставляли места для подобных проявлений человечности. Разве что несколько раз менялись сигаретами или передавали друг другу окурки. Но если у тебя находили сигареты, ты подвергался наказанию — двадцать пять ударов хлыста или пятнадцать дней карцера.

Мы пытались противостоять деградации, в которую нас бросали с неслыханной жестокостью. Вся наша гигиена состояла из струйки ледяной воды во дворе барака. Внутри барака лежбища кишели насекомыми. Заключенные, страдавшие от истязаний и побоев, перевязывали раны чем придется, тем самым инфицируя их. Но это никого не беспокоило.[28] Единственной ценностью была сила. Основным занятием СС были избиения. Как-то раз они решили примерно проучить всех заключенных в лагере и прекратили измываться над нами, только дойдя до четвертого барака, потому что задыхались и уже были в изнеможении!

Вскоре я начал мучиться от дизентерии и острых приступов ревматизма в руках. От ремня катка, которым утрамбовывали лагерные дороги, у меня начались сильные боли в животе; ноги же, совершенно израненные, были навсегда покалечены. Теперь мне приходилось целыми днями лежать неподвижно с окровавленными конечностями.

Время от времени меня вызывали в медсанчасть, чтобы оказать какую-нибудь помощь. Медик-ассистент держался со мной очень любезно. Он был уроженцем этих мест, и, конечно, его пригнали сюда насильно. Заметив, как я страдаю, он потихоньку сунул мне в рукав плитку шоколада. Позже я пытался разыскать его, но жители его деревни не смогли или не захотели ничего мне сообщить. Возможно, потом он примкнул к коллаборационистам. Или его работа в лагере вызывала омерзение. Если после Освобождения у него были неприятности, то я сожалею, что не смог засвидетельствовать, как он был вежлив и на какой риск не побоялся пойти, чтобы оставаться человеком в

таких страшных условиях. Ведь за его спиной неусыпно стояло СС.

Меня одолевал ужас каждый раз, когда мое имя доносилось из громкоговорителя. Потому что иногда меня вызывали для того, чтобы провести на мне чудовищные эксперименты.[29] Чаще всего это были очень болезненные уколы в соски. Я прекрасно помню белые стены, белые халаты и смеющихся медиков-ассистентов... Нас вызывали с полдюжины, мы, раздевшись до пояса, стояли в линеечку у стены. Инъекции они делали, метая в нас шприцы, как метают дротики на праздничной ярмарке. Во время одного из таких сеансов тот несчастный, что стоял рядом со мной, внезапно рухнул на пол, потеряв сознание. Шприц пронзил ему сердце. Больше мы его не видели.

Одно из самых больших несчастий, оставшихся в памяти, — голод. Надзиратели заботливо поддерживали его, и он становился причиной многих столкновений. Голод заставлял нас идти на большой риск. Иногда, поставленный проследить за чисткой кроличьих клеток, я тайком съедал несколько морковок. Другой раз, например во время очередного допроса, офицер СС показывал нам банку с вареньем. Нужно было только сказать ему то, что он хотел услышать от нас, — и тогда, объяснял он, мы сможем отведать это нежное лакомство. Помню, как в ярости от того, что так и не смог побороть наше сопротивление, он опрокидывал банку и разбрасывал варенье прямо в комнате.

Голод заставлял некоторых совсем потерять рассудок. Помню одного заключенного, которого часто видели за «туалетами», состоявшими из нескольких досок с вонючей дырой, в которую самые тщедушные легко могли провалиться. Он всегда рыскал позади, потому что именно там вились рои мух. Каждый раз, когда ему удавалось схватить хоть одну, он тихонько издавал удовлетворенный вопль.

По воскресеньям нам устраивали иную пытку, многократно усиливающуюся в погожие дни лета. Пока мы работали, эсэсовцы устанавливали перед своим домиком столы, на которых были всевозможные яства. Ароматы их празднества доходили до нас, вызывая головокружение. А они шумно пьянствовали перед нашими глазами. Особенным успехом пользовалось эльзасское вино. Солнце и летняя жара были фоном для этой чудовищной картины. Нам с лихвой хватило бы и объедков банкета, мы сожрали бы их, ползая на четвереньках. Эсэсовцы пьянели и хохотали. Их лихорадочная фантазия становилась все острее, они соперничали в выдумках. Иногда сельский праздник заканчивался импровизированными садистскими играми, после которых мы снова кого-нибудь недосчитывались.[30]

Вскоре лагерь в Ширмеке был заполнен до отказа, как и все места заключения в Эльзасе; встал вопрос об увеличении вместимости лагерей. В соответствии со срочным приказом Гиммлера осуществление проекта строительства концлагеря Штрутгофа, расположенного в горной местности на высоте шестисот метров над нами, было ускорено.[31] Необходимо было расчистить место, освободив его от скал и булыжников, и натаскать бревна. Бараки там строились тоже. В грузовике или пешком, зажатые с обеих сторон немецкими овчарками, мы лесом поднимались туда. Немцы меняли партии узников, стремясь не допустить, чтобы мы слишком быстро догадались, что это за стройка. Напрасная предосторожность. Мы уже поняли, что нам приказано построить печи крематория. Нами овладело ощущение кошмара, и это чудовищное открытие сопровождалось шушуканьем, полным ужаса.

Проходили дни, недели, месяцы. Так я прожил шесть месяцев, с мая по ноябрь 1941-го, в мире, где правили дикость и ужас. Но сейчас я хочу рассказать еще об одном воспоминании, для меня самом жутком, тем более что все это случилось в первые недели моего пребывания в лагере. Оно больше всего способствовало моему превращению в бессловесную и безмолвную тень.

Однажды громкоговорители срочным порядком вызвали нас на площадь, где обычно проводилась перекличка. Лай и выкрики сделали свое дело, и мы без промедления явились туда все. Нас построили квадратом, мы стояли по стойке «смирно», окруженные эсэсовцами, как бывало на утренних перекличках. Пришел комендант лагеря со своим штабом. Я подумал было, что он снова примется внедрять в наши души свою слепую веру в рейх, состоявшую из указаний, оскорблений и угроз, наподобие знаменитых ругательств своего хозяина, Адольфа Гитлера.

Но на самом деле готовился обряд наказания — исполнение смертного приговора. В самом центре образованного нами квадрата поставили между двумя эсэсовцами молодого человека. Охваченный ужасом, я узнал Жо, нежного друга моих восемнадцати лет.

Прежде я никогда не замечал его в лагере. Его привезли до или после меня? В те несколько дней, что предшествовали моему приходу в гестапо, мы не виделись. Я застыл от страха. Как я молился, чтобы ему удалось бежать от их облав, их допросов, унижений. И вот он здесь, перед моими глазами, полными слез. Он не носил втихаря, как я, опасных депеш, не срывал воззваний, ничего не подписывал. И все-таки его взяли тоже, и вот он сейчас умрет. Приговор явно был подписан. Что произошло? В чем его обвиняли эти чудовища? Скорбя всем сердцем, я совершенно

забыл о том, что причина смертного приговора была очевидной.

Затем из громкоговорителей полилась оглушительная классическая музыка, пока эсэсовцы раздевали его донага. Потом ему на голову нахлобучили белое цинковое ведро. И натравили на него свирепых псов из лагерной охраны, немецких овчарок, которые сперва искусали ему весь низ живота и бедра, а потом сожрали всего прямо на наших глазах. Ведро, крепко сжимавшее голову, отражало его вопли, делая их еще громче. Напрягшись всем телом, едва держась на ногах, с вытаращенными от ужаса глазами, полными слез, я молился только об одном — чтобы он как можно быстрее потерял сознание.

С тех пор я часто просыпаюсь по ночам от своего крика. Вот уже пятьдесят лет эта сцена все встает и встает у меня перед глазами. Мне никогда не забыть варварского убийства моей любви. Прямо на моих глазах, на наших глазах. Ибо нас были там сотни, сотни свидетелей. Почему сегодня все молчат об этом? Не все же умерли? Правда, мы были в лагере самыми юными, и с тех пор прошло много лет. Но мне думается, что кое-кто предпочел навсегда закрыть рот на замок, боясь воскрешать страшные воспоминания, вроде того, о котором я рассказал.

НАПРАВЛЕНИЕ – СМОЛЕНСК

Ноябрь 1941-го. Мои душа и тело давно привыкли к адскому ритму лагерной жизни, складывавшемуся из одинаковых повторяющихся дней, наполненных беспрестанными несправедливостями. Здесь не происходило ничего такого, что выходило бы за рамки ежедневного цикла жестокостей, методично запрограммированных СС.[32] Осень сменила лето. Невдалеке засверкал разноцветьем листвы лес. Из-за колючей проволоки и сторожевых вышек мы созерцали природу, столь прекрасную, такую щедрую. И когда мы смотрели на Вогезское ущелье, которое уже начинал покрывать снег, как часто нам хотелось, чтобы произошло хоть что-нибудь, не важно, что именно, — пусть самое худшее, но положившее конец вечному унижению и вырвавшее бы нас из их когтей..

Я, как и другие узники, стоило только утренним туманам рассеяться, поглядывал на статую Девы Марии, стоявшую на зубчатой стене замка в долине у подножия горы. Многие из нас обращали к ней взгляды. Мы ничего не говорили друг другу, но я хорошо понимал, что было той единственной мыслью, и моей, и моих товарищей, которая еще могла сплотить нас: вернуться домой, снова обнять тех, кого мы любили, лечь в свою постель в своей спальне.

Вернуться к самому себе.

В ноябрьский денек 1941-го я услышал, как мое имя донеслось из громкоговорителя. «Зеелю Петеру» было приказано явиться в комендатуру. За несколько дней до того, прочесывая граблями гравий у входа, потому что мне снова приказали следить за крольчатником, я успешно своровал несколько морковок, принесенных для кормления кроликов. Меня засекли и теперь накажут? За это могли повесить. Или меня вызывают на очередной допрос? А что, если снова уколы? Перевод в другой лагерь? Уже давно позабыв даже и думать о каком-либо сопротивлении, я воспринимал все происходившее со мной со страхом, но и с большим безразличием.[33] В таком аду сама надежда могла стать обманом.

Карл Бук сидел за столом. Он не показался мне ни чересчур разъяренным, ни даже подозрительным. Напротив, он, вопреки обыкновению, даже не кричал. Его слова были церемонными, а интонация — торжественно-тяжелой. Получив от своих агентов донесение о моем пребывании в лагере, он заключил, что поведение мое хорошее и меня можно выпустить. Отныне я мог считаться полноправным гражданином Германии. Мне даже

предоставлялось право выйти из его кабинета с криком «Хайль Гитлер», мысленно адресовав это приветствие выдающимся людям рейха. Стоя перед ним навытяжку, не веря своим ушам, я пытался разгадать, какую еще ловушку мне приготовили. Последняя формальность. На столе, прямо перед моими глазами, лежал, ожидая моей подписи, документ на зеленой бумаге, проштампованной немецким орлом. И тогда Карл Бук добавил уже другим, угрожающим тоном: «У нас длинные руки, и если вы посмеете расказать что бы то ни было о том, что пережили или видели в лагере, если вы не оправдаете надежд властей рейха, вы, без всякого сомнения, будете немедленно возвращены за колючую проволоку». Спокойно, но непреклонно он требовал от меня полного молчания. Меня охватило изумление, я не понимал ничего. Но повиновался и, не прочитав, поставил подпись. Бук взял листок бумаги и положил в сейф.

Что я подписал? Этот вопрос преследовал меня долго и неотступно. Он вселял в мою душу страх все те годы, что я был немецким гражданином, а потом и солдатом. Может быть, все это слишком напоминало мне историю с протоколом в комиссариате Мюлуза двумя годами ранее; ведь и его я подписал не подумав, и с этого начались драматические события в моей жизни. Но на сей раз, в лагере, у меня просто не было другого выхода. Это был приказ. Все могло обернуться мрачным фарсом: а вдруг меня убьют, как только я окажусь по ту сторону колючей проволоки?

Когда я подписал документ, ни один мускул не дрогнул на лице Карла Бука. От безумной надежды, что его предложение «честное», я вдруг словно бы изнутри наполнился порывом ветра. Я отсалютовал по-немецки, как и было положено, и, согласно приказу, направился в хозяйственный блок. Там мне выдали гражданскую одежду. Я сбросил униформу арестанта: пилотку, робу, штаны, изношенные, латаные-перелатаные, и этот их кошмарный цветной значок. Мне дали денег, чтобы купить билет до Мюлуза. Потом, не обернувшись для прощального взгляда на товарищей по несчастью, я направился к решетке, туда, где был выход. Я перешел заграждение, ожидая самого худшего.

Меня не убили. Дорога к вокзалу по улицам Ширмека показалась мне невыносимо длинной. Обритый и тощий, я чувствовал, как меня преследуют сумрачные взгляды прохожих. Восемнадцатилетний, я превратился в существо без возраста. Моя любовь была мертва, а меня нацисты превратили в отребье. Какой-нибудь час назад я еще ходил бессловесным роботом вокруг виселицы, в мире воплей, овчарок, автоматчиков и сторожевых вышек.

Почему нацисты меня освободили? Чего они теперь

потребуют? Поверить в такое было невозможно. Что, если они решили сделать меня пушечным мясом? Мне сказали, что я каждое утро обязан отмечаться в гестапо Мюлуза: для чего? И что было в подписанном мной документе?[34] Обязательство хранить молчание? И мое немецкое гражданство?

Сойдя с поезда на вокзале Мюлуза, я тупо огляделся, точно семья могла ждать здесь моего приезда, о котором ее любезно проинформировали мои нацистские надзиратели. Разумеется, никого не было. Идти по улицам Мюлуза было для меня тяжким испытанием. Слухи об облавах на гомосексуалов, должно быть, распространились по всему городу. И с тех пор как меня отсюда увезли, семья узнала, что я «швайнхунд». Мои родители, католики, трепетно заботившиеся о своей репутации, — как они к этому отнеслись? Согласятся ли они принять меня? И на каких условиях? И как мне объяснить им, да и что объяснить, если я обязался хранить полное молчание? Я говорил себе, что вся семья безусловно разделит позицию отца.

Вот как все произошло. Подойдя к дому, я позвонил, словно незнакомец. Я видел, как кто-то наклонился, чтобы посмотреть, кто пришел. Узнал ли он меня? Он не вскрикнул. Сейчас я не помню, кто открывал мне дверь. Мне удалось с трудом подняться по лестнице и ступить на порог гостиной.

Семья обедала. Отец встал из-за стола. Когда я сделал шаг вперед, он вынул из жилетного кармана золотые часы и протянул мне, сказав: «Сын мой, вот тебе подарок ко дню возвращения. Поешь с нами. Не рассказывай ни о чем. А потом пойдешь отдыхать». Прислуга поставила стул и столовые приборы. Я мог сесть рядом со своей семьей. Обед прошел в тишине. Я видел, как на другом конце стола мать тщетно старается удержать слезы. Никто не прервал молчания.

Было 6 ноября 1941-го. Одним махом два моих секрета скрепились в один: и нацистский ужас, и позор гомосексуальности. Время от времени на меня бросали недоуменные взгляды: почему я такой истощенный и голодный? В кого я превратился за эти шесть месяцев? Так я и правда был гомосексуалистом? Что со мной делали нацисты? Почему меня освободили? Никто не задал мне таких естественных вопросов. Но даже если бы кто-нибудь осмелился, я бы все равно не ответил: меня связывала двойная тайна. Для ответа на эти безмолвные взгляды мне понадобилось прожить еще сорок лет.

Я снова был у себя в спальне, с моими книгами, моими вещами. С моей, так далеко отошедшей от меня, сущностью. Такой была она до того, как меня изнасиловали. На шелковых простынях, в тепле и заботе, я чувствовал страшный внутренний

гнет. Спать мог только на коврике. Ночью на меня нападал нестерпимый голод, и я бросался в кладовую. В семье решили запереть на висячие замки все шкафы, где хранилось съестное. Когда я просыпался от кошмаров, мои вопли будили весь дом. Врачи приходили лечить меня от дизентерии.

На следующее же утро после возвращения я начал отмечаться в гестапо. Это внушало мне невыносимый ужас. А если меня снова арестуют? Я шел туда в самый ранний час, чтобы не встречаться взглядом с прохожими. Потом возвращался прямо домой и не выходил из комнаты целый день. Все продолжало вызывать у меня страх. Даже этот домашний уют был обманчив: меня в любой момент могли оторвать от него. Единственное, что мне было дозволено, — это чувствовать, что я еще живой. Но, по правде говоря, был ли я таким?

Так промелькнули четыре месяца. Поскольку гестапо меня не задержало, я вообразил, что обо мне забыли. Но мне уже было известно, что за пять месяцев до этого Германия напала на СССР. Теперь она воевала на всех направлениях. Такой мощной военной и индустриальной машине необходимо было помногу черпать оттуда, где еще оставались резервы. Полноправный гражданин рейха, я понимал, что рано или поздно меня призовут на военную службу.

Я все еще спал на коврике в своей комнате. Здоровье немного поправилось. Но мне не хотелось никого видеть. О чем я мог рассказать? О лагере в Ширмеке было известно только по слухам. О пытках и убийствах никто ничего не знал. Как и о повешенных, и о многочисленных расправах, о торжественных выступлениях Карла Бука, о голоде, бесправии; ровным счетом ничего не знали о тех несчастных, кто мучился там от адских морозов, унижений и садизма СС. А тот крематорий Штрутгофа уже работал на полную мощность, превратив первые ростки сопротивления в прах, растаявший над заснеженными вершинами елей Вогезского ущелья.

Однако новости приходили одна тревожнее другой, даром что это было уже не в лагере. Пока я находился в Ширмеке, законы Виши запретили франкмасонство, узаконили аресты и принудительные интернирования людей с «опасной» репутацией или имевших статус евреев. «Преемник» Петена, адмирал Дарлан, запросил карточки с информацией обо всех, кто проявил нежелание сотрудничать с его режимом, как раз когда прах Эльона упокоился в Пантеоне. Но все еще сопротивлялась Великобритания, и внутри нашей страны сопротивление тоже набирало силу. Соединенные Штаты, встревоженные тем, что конфликт перенесся на западное побережье, в Атлантику, наконец

решили вступить в войну. Так европейский конфликт перерос в мировой.

Германия нуждалась в новых силах. Было ясно, что в покое нас не оставят.

В весенний день 21 марта 1942 года повестка с призывом в немецкую армию настигла меня. Офицер, занимавшийся пополнением кадров, принес ее прямо родителям домой. Меня внесли в состав РАД, Рейх Арбайтсдинст.[35] Этот зловещий документ, как и мой вызов в гестапо за десять месяцев до того, ничего хорошего не сулил. Кокон семьи оказался слишком хрупким перед силой государства.

Я попробовал, как и другие, увильнуть от этого дополнительного испытания. Я слышал, что это можно сделать вот как: съесть несколько сардин с растолченными таблетками аспирина. Результатом были белая пена на губах и учащенное дыхание, к которому я добавил еще несколько театральных спазмов. Некоторым этого хватило, они своего добились. А вот я провалился. Мне не поверили.

И вот я на войне, восемнадцати с половиной лет, облаченный в немецкую униформу. Отбытия из Мюлуза я не помню; не помню и тех трех лет, что прошли потом, когда я исколесил все страны Европы, ни деталей, ни мест, ни дат — все совершенно выветрилось из памяти.[36] Напрягаюсь, чтобы воскресить события, но они ускользают: забытые? вычеркнутые из памяти? Так же было в когтях нацистов, где вся моя воля сконцентрировалась только на одном — выжить, а не запомнить. Лишь крохи случайных воспоминаний блуждают в этом хаосе.

Меня поместили в казарму, предназначенную для РАД в Вене, вместе с чехами и австрийцами. Помню, что там было много эльзасцев, уроженцев Лотарингии и Люксембурга. Командный состав был исключительно прусским. Многие из немецких офицеров были уроженцами Померании.

Я был ординарцем одного из них. Драил ему сапоги, готовил пищу, занимался его делами и ходил за конем. Я задавал себе вопрос — а уж не намеренным ли был выбор нацистами своих денщиков: мое досье, без сомнения, следовало за мной по пятам, и мой хозяин-офицер должен был его прекрасно знать. Он представлял, откуда я и почему здесь. Мог всегда проконтролировать меня, проследить за моим поведением, проверить, держу ли я язык за зубами.[37] И я очень скоро вспомнил, как надо изображать полное послушание, ведь этот урок я усвоил еще в Ширмеке.

Это были шесть месяцев военной муштры. Нас готовили к войне. Но из предосторожности не учили напрямую обращаться с

оружием. Вместо него был «шпатен»: длинный заступ, служивший заменой винтовки, — с ним мы упражнялись долгие часы. Он был такой тяжелый, что у нас на ладонях появились ужасающие мозоли. Еще нас учили гусиному шагу. Мы были одеты в униформу цвета хаки, в сапоги и пилотки или кепки. Особенно унизительной была необходимость носить нарукавную повязку со свастикой.

А весна 1942-го застала меня в Вене. Столица Австрии меня поразила: кафедральный собор, Пратер, кондитерские магазинчики. Несмотря на войну, город продолжал блистать легендарными празднествами и изящной ночной жизнью. Вокруг Оперного театра, когда там давали вечерний концерт, счастливчиков с приглашениями собиралось столько же, сколько и зевак. В те вечера, когда мне разрешали выйти в город, я любил смотреть на светское оживление, сверкающие туалеты и любоваться изысканной элегантностью. Эти черты цивилизованного общества были для меня явным противовесом тупости казарменной жизни.

Помню, словно той мрачной весной это был внезапно вспыхнувший мимолетный лучик счастья, как однажды вечером от толпы прогуливавшейся у подножия лестницы светской публики отделилась женщина, подошла и предложила приглашение. Почему, почему именно мне? Я не знаю. Я смог выдавить только несколько смущенных благодарных слов, спрашивая себя, должен ли я поцеловать руку этому видению в мехах и длинном платье. Она рассмеялась, видимо заметив, что я говорю с акцентом, и бросила, прежде чем исчезнуть: «Ведь вы француз!» Ее улыбка была странной и теплой.

И через несколько минут я тоже оказался в этом зале, где выступали самые великие композиторы Европы, и услышал, и увидел оперу, названия которой я не помню. Память удержала только одно: хор согласно пел «Отче наш».

Посещает меня и другое счастливое воспоминание; оно тоже необыкновенное, ибо я снова позабыл его детали. Мы очень сблизились с одним чехом, как и я, прошедшим муштру в казармах РАД. Думаю, что я не рассказывал ему о своей жизни ничего важного, ведь я не хотел иметь настоящих привязанностей. Может быть, его покорили моя грусть или мое постоянное молчание? Во всяком случае, он предложил пойти вместо него в увольнительную и нанести визит его жене.

У меня остались от этого путешествия воспоминания, полные тихой безмятежности. Я поехал в Баварские Альпы. И там были три дня отсыпания, обильной еды и прогулок. Я был признателен этой женщине за гостеприимство, однако чувствовал себя очень

странно. Ведь она ждала мужа, а вместо него приехал я. Но в любом случае мы были друг другу симпатичны. В казармы я привез для всех пироги и тщательно записал адрес своего великодушного приятеля. Сколько раз потом я писал ему. Но война превращает письма в пыль, и я потерял его из виду. Что с ними сталось, с ним и с его женой? Как мне хотелось бы сейчас, после всех кошмаров, возобновить эту дружбу, сделать все возможное, чтобы вместе вспомнить наши отношения с нежностью.

Нас сорвали из Вены и отправили в Ренанию. Мы оказались в Гютерслохе, что рядом с голландской границей.

Там располагались ряды казарм, обслуживавших огромный военный аэропорт, на котором стояли самолеты, готовые лететь к берегам Великобритании. Тем летом 1942-го, когда мне исполнилось девятнадцать, я снова служил ординарцем у офицера. Но и от обязанностей рядового меня не освободили. Сегодняшние воспоминания о том периоде жизни скорее забавляют меня.

Каждое утро мы отправлялись на склады при этом военном аэропорте. Ехали туда на велосипедах. У них не было тормозов, но, чтобы остановиться, достаточно было крутануть педали назад. Это казалось мне абсолютно непонятным: отношения с собственным телом у меня были разрушены, вывихнуты. Самый младший в роте был обязан таскать общий котел, чтобы днем все могли перекусить. Мы двигались по дороге к складам на заре, гуськом, один за другим, так что колеса одного велосипеда почти соприкасались с колесами другого. Я, нагруженный тяжелой ношей, замыкал процессию.

Однажды, не успев вовремя затормозить педалями и не справившись с неудобной поклажей, я на наклонном выезде завалился набок. При этом еще и зацепил велосипед, ехавший прямо передо мной, так что вся процессия повалилась, как карточный домик. Был составлен рапорт. Мне приказали каждый вечер после работы учиться практике владения велосипедом прямо на авиаполосе: мне приходилось делать круги среди гудящих самолетов, которые приземлялись и взмывали в воздух, повинуясь командам мелкого чинуши, все кричавшего мне: «Шнеллер, шнеллер», быстрее, быстрее.

Я вернулся в Мюлуз 26 сентября 1942 года, по окончании шести месяцев «военных сборов». Но недолгой была моя радость. Родители сразу сказали мне, что вот уже месяц как действует приказ о непрерывном наборе эльзасцев-лотарингцев на военную службу в вермахт. Договор в Ла-Э растоптали нацистские сапожищи. Поэтому я не удивился, получив новый приказ, где

значилось, что я должен буду 15 числа следующего месяца явиться к пропускным турникетам вокзала в Мюлузе.

Я получил всего девятнадцать дней передышки, каких-то девятнадцать дней, которые я снова провел запершись в своей комнате. Ход событий ускорялся: во всех крупных городах оккупированной Франции начались массовые аресты евреев. А «свободной зоне» оставалось жить всего несколько недель.

Итак, после шести месяцев лагеря и шести месяцев РАД кошмар продолжался. На сей раз я уже не смог избежать призыва на фронт. Ужасы, виденные и пережитые мной в лагерном мире, теперь грозили повториться в моей жизни уже в масштабе Европы. Мне целых три года предстояло быть призраком на службе у смерти.

Когда-нибудь будет рассказана эта чудовищная история из тех, что называют «случившимися не по нашей вине», — история уроженцев Эльзаса и Лотарингии, которым приказали убивать членов движения Сопротивления, антифашистов и все их семьи, то есть ликвидировать врагов рейха. Тот унизительный приказ от 25 августа 1942-го прозвучал похоронным звоном для гордой патриотической молодежи Эльзаса, которой ничего не оставалось, как спасать свою шкуру, встав под знамена рейха. До сих пор страшно осознавать и вспоминать то, что нас заставили тогда творить.

15 октября 1942-го семья пришла проводить меня на вокзал. Мать плакала: мне не было еще и двадцати, и вот я снова отправлялся прямиком в ад. С сердцем, изнывавшим от нестерпимой боли, я пошел к моим товарищам по несчастью. У самого турникета военная служба безопасности попыталась нас разлучить. В людской толчее объятия получились неловкими, а последние слова заглушил гомон толпы. На перрон, где уже стоял наш поезд, был доступ только у сотрудников вермахта. Атмосфера накалилась, эсэсовцы, следившие за отправлением новобранцев, усилили контроль и кричали вдвое громче обыкновенного. Остальное довершали люди в форме фельджандармерии, военной полиции. Нас быстро повели прямо к составу, конечно, чтобы предотвратить коллективное неповиновение или первые попытки к бегству. Вагоны заперли снаружи, и поезд со скрежетом тронулся с места.

Изгнанные из вокзала, провожавшие своих детей семьи переместились на два моста над железнодорожными путями. Мы приникли к окнам поезда, высунув головы наружу и высматривая склонившиеся с парапета силуэты любимых. Все махали руками или платками, пусть даже не видя кому. Заметят этот знак прощания или нет, все равно он был самым важным сейчас.

Кто из нас запел тогда «Марсельезу»? Не знаю. Но сразу же этот голос подхватил целый хор, сперва нестройный, гулко покатившийся по вагонам, и уже потом — оглушительный, когда поезд проезжал под мостами, на которых стояли наши близкие. Эсэсовцы, наставив на нас автоматы, выкрикивали по-немецки приказания закрыть окна. Но мы не слушали их. Мы пели во всю силу легких, воодушевляя и ужасая наших родных этим патриотическим демаршем, о котором потом передало Лондонское радио.[38]

В Кольмаре нас ожидали уже солдаты с пулеметами. А потом были еще Страсбург, Кель и переезд через Рейн: рейх, погружение в настоящую войну.

Нашим конечным пунктом назначения была Югославия, с проездом через Австрию. Уже полтора года как в нее вошли немцы, а она все успешнее сопротивлялась с помощью множества партизанских отрядов. Сербия, верная Тито, всячески изводила немецкую армию и ее друзей хорватов. Я позабыл названия местечек, подробности, все, что нас окружало. Но хорошо помню, как мы регулярно выезжали из Загреба для карательных операций, увешанные гранатами, чтобы вылавливать в ближайших горах непримиримых бойцов Сопротивления. Это Сопротивление выводило немцев из себя, и они постоянно увеличивали число таких рейдов. Потому что прямая дорога на Грецию должна была быть «зачищена» уже давно. Противостояние партизан Тито оказалось гораздо сильнее, чем они думали; надо сказать и о том, что всё усиливавшиеся зверства нацистов только укрепляли Сопротивление, сообщая ему поддержку в более или менее широких народных массах.

Воскрешать в памяти все, что тогда было, мне стыдно до сих пор. Партизаны-антифашисты быстро передвигались в горах и действовали на местности гораздо изобретательнее, чем немецкая армия, которую они неотступно преследовали вылазками. Ответ нацистов был жутким. Прочесывая отдаленные деревни, где остались одни только женщины и дети, мы должны были поджигать соломенные крыши хат. Наш слух терзали женские вопли, доносившиеся из самой глубины этого чудовищного пекла. Полные отвращения к злодеяниям, которые нас заставляли совершать, мы в один прекрасный день заявили начальству, что все потеряли зажигательные баллоны. В тот же вечер на раздаче пайков мы остались без хлеба: вместо него нам выдали спички.

А однажды, как я, увы, давно предчувствовал, на крутом повороте извилистой дороги мне пришлось столкнуться лицом к лицу с партизаном. Мы стояли слишком близко друг к другу, чтобы стрелять поверх голов. Рукояткой винтовки он раздробил

мне челюсть. Я не лишился сознания, а, наоборот, нанес ответный удар. В этой роковой рукопашной схватке выжить мог только один из нас. Поскольку я жив до сих пор, говорить об ее исходе нет нужды. Нацисты сперва научили нас убивать, а потом приказали убивать: это они сделали из нас убийц.

Серьезно раненный, я все-таки догнал свою роту. Меня репатриировали и поместили в сельский госпиталь Красного Креста. Позже я лишился всех зубов. Но я обязан ранению тем, что меня, в отличие от всех, не отправили на передовую. Негодного к строевой службе, солдата без специальности и квалификации, полезной рейху, меня отослали в Берлин, где я стал конторским писарем в казарме, по-прежнему нося форму вермахта. Обмениваясь со своими сослуживцами только обычными фразами, всецело поглощенный тем, чтобы быть незаметнее, я, склонясь над бумагами, тихо подсчитывал проходящие недели, мечтая только о возвращении домой.

Берлин, невралгический центр охваченной огнем и залитой кровью Европы, в начале 1943 года, в самый разгар войны, тоже был блестящей столицей, полной необыкновенной жизненной активности. И вновь, как в Вене, я мог немного прогуляться по улицам, иногда зайти в ресторан, издали полюбоваться на огни больших вечеринок. Я не преминул отметить, что в этом городе почти совершенно не стало гомосексуалов.[39] Мне было тогда невдомек, что все злачные места, прославившиеся ночной жизнью, были полностью выпотрошены еще десять лет назад, все ассоциации запрещены, а тысячи их членов арестованы специальным отделением гестапо.[40] Первыми под облавы попали те, кто имел судимость или на кого в полиции уже заводили карточку. Центр Магнуса Хиршфельда, самая значительная во всей Европе ассоциация гомосексуалов, был со всеми его архивами разгромлен СА. Остальное довершили многочисленные доносы.[41]

Пришла весна 1943-го. Отсюда было очень трудно понять, что происходит с рейхом. И народ, и армия казались более чем когда-либо преданными своему вождю. Пропаганда доходила до высот виртуозности. На каждом углу, в каждой витрине висела свастика, портрет фюрера или слоган, напоминавший, хоть в этом и не было никакой необходимости, при каком режиме живет Германия. Казалось, берлинцы вполне привыкли к этому.

Из того прозябания, в каком я тогда пребывал, вдруг всплывает воспоминание, чудесное, призрачное. Я осознал его лишь недавно, когда перелистывал в книжной лавке книгу о нацистской Германии, называющуюся «Именем расы». Там исследовалась проблема «Лебенсборна» и были подтверждающие

фактическую сторону фотоснимки.[42] Вдруг я неожиданно наткнулся на один из них: я помнил этот «Лебенсборн», который находился в Бад-Польцине в Померании.

В Германии существовала дюжина «Лебенсборнов». Это название было придумано — один из тех неологизмов, на которые нацисты были такие мастера: Либен — жизнь, а Борн — источник. Источник жизни, кипение молодой силы, превращался там в конвейер по производству белокурых младенцев, получавшихся от спаривания избранных партнеров «чистой арийской расы». После кощунственной церемонии крещения перед алтарем, на котором красовалась огромная свастика, когда перед колыбельками навытяжку стояли офицеры СС, этих младенцев записывали детьми одного отца: Адольфа Гитлера.[43]

Тем весенним утром 1943-го власти уведомили меня, что мне надлежит отправиться в Померанию, приблизительно на сто пятьдесят километров к северо-востоку от Берлина, с заданием, суть которого была мне неизвестна. В униформе, со своим «Бефелем», с приказом об обязательной отметке всех перемещений, я оказался перед охраняемым входом, над которым развевалось знамя со свастикой. Пройдя за ограду, я очутился в огромном парке, утопавшем в зелени и цветах, с бассейнами и птицами; среди всего этого виднелись отдаленные маленькие домики, там и здесь, множество любовных гнездышек, к которым шли, обнявшись, легкомысленно одетые парочки.

Оказавшись у центрального здания, я снова предъявил удостоверение. Мне оказали самый любезный прием. Показали мою комнату и выдали расписание празднеств, с указанием времени завтрака, обеда и ужина. Комната имела вид богатый и комфортабельный. Возле постели я обнаружил технологический шедевр той эпохи — миниатюрный радиоприемник, его можно было просто вставить в ухо и прослушать конечно же нацистскую пропаганду. Позже такую же техническую новинку я заметил в некоторых военных госпиталях рейха. Из окна я видел беззаботно фланирующие пары, вид у них был совершенно безмятежный. Мужчины, сплошь хорошо сложенные блондины, охотно гуляли с обнаженным торсом.

В полдень я пришел в столовую. По изяществу пропорций, ковров и люстр, скатертей и салфеток она была достойна дворца. Поражала вышколенность персонала, некоторые были в белых перчатках. Мне показалось, что обслуживали заключенные. Столы стояли далеко друг от друга. Достаточно было просто выбрать себе место, и все сидящие за этим столом вставали, приветствуя новенького громовым «Хайль Гитлер!». Затем подавали еду, как в хорошем ресторане. Совершенно заинтригованный, я спрашивал

себя, что это за молодые красивые мужчины, покровительственно обнимающие одну или сразу нескольких женщин? В глубине камерный оркестр чередовал классическую музыку с военными маршами. Куда я попал?

Я все понял, когда начались выступления собравшихся и последовавший за ними показ диапозитивов. Я присутствовал на одной из долгосрочных программ рейха, предусматривавшей супружество и создание семьи как живое продолжение нацизма в потомстве: поскольку идеология Гитлера должна была стать главенствующей, в таких райских местечках происходили зачатия прекрасных детей будущего, которые отвечали бы расовым критериям Третьего рейха, эталону избранной прекрасной молодежи, гордой своей миссией анонимного зачатия. Расположенная чуть поодаль родильная клиника с детскими яслями собирала урожай этих запрограммированных нежностей. Все здания, с эсэсовской охраной у входа, находились под строгим присмотром медсестер и нянечек в длинных черных платьях и чепчиках. Такая животная форма квазизачатия меня ужаснула. Но посвятить сына фюреру, действительно, считалось делом святым, проявлением подлинного энтузиазма: пропаганда делала свое дело.

Я много раз пытался понять, почему именно меня послали в эти кущи: в моей внешности не было ничего от арийского блондина, и я определенно был на заметке как гомосексуалист. Если меня иногда и охватывало сексуальное влечение, оно никогда не было направлено на женщин. Зачем им понадобилось, чтобы я увидел этот спектакль, столь дорогой сердцу Гиммлера, его последовательного закоперщика? Чтобы именно я смог потом, уже в своей казарме, лишний раз с удовольствием расписывать перед полными зависти и недоверия товарищами прелести национал-социализма? Или чтобы окончательно довершить мое «перевоспитание»? Продемонстрировать преимущества гетеросексуальной жизни? Заставить меня побледнеть от красоты этих жирных «гретхен»? Что касается мужчин, гордых от того, что выбрали именно их и теперь они могут тоже выбирать, то с их голубыми и пустыми глазами мои глаза встречались с испугом. Уж эти-то никак не могли взволновать меня.

Много позже я узнал всю подноготную этих райских «Лебенсборнов»: туда свозились взятые во время облав тысячи норвежских блондинок, вынужденных обслуживать плодовитые чресла и ненасытное брюхо рейха. Так же поздно стало мне известно и то, что Гиммлер создал чудовищные отряды ловцов детей, высматривавших их белокурые юные головки по всей Северной Европе, пережившей волну таких злодейств. Они

хватали детей прямо на улице, отрывали от родителей и бросали в грузовики.[44] Уж не думало ли мое начальство как-то соблазнить меня такой гнусной перспективой — используя мою ориентацию, сделать из меня похитителя малышей?[45] Не пытались ли они сделать меня одним из тех мерзких извращенцев, которые прочесали вдоль и поперек всю Скандинавию? Сегодня такое предположение кажется мне далеким от действительности. Но тогда — какой же смысл мои начальники придавали этой командировке? Что они этим хотели мне сказать? Я так и не понял до сих пор. Могу сказать одно — потом, когда кончилась война, эти сироты рейха искали своих настоящих родителей, заполняя объявлениями, написанными канцелярским языком с налетом патетики, целые развороты немецких и эльзасских газет.[46]

После этих вроде бы идиллических дней я вернулся в Берлин в полном недоумении. Там я в основном налегал на еду и отсыпался, так что, когда снова оказался в казарме, откровенничать было и не о чем. Во всяком случае, никаких встреч или разговоров у меня в этой необычной поездке не случилось. И тем не менее возвращаться к ежедневной утренней перекличке было тяжеловато. Крики и приказы по-прежнему так и сыпались, продолжались и громогласные чтения распоряжений и дневного распорядка.

В начале лета 1943-го как-то утром пришли искать добровольцев, умеющих считать и писать. Я, сам не зная почему, вдруг поднял руку. Отец часто повторял мне: «Не высовывайся, а то тебя мобилизуют для самых гнусных заданий. Потом локти будешь кусать». Как-то раз, на хорватском фронте, спросили, есть ли шесть человек добровольцев, чтобы конфисковывать хлеб. Волонтеров нашлось много, все рассчитывали прикарманить какие-нибудь горбушки. Вернулись шатаясь, бледные, как мертвецы: им приказали расстреливать людей.

В тот же день после обеда по громкоговорителю передали, что Зеель Петер вызван к капралу. Помню, как я уже сожалел о своей смелости; все привычные страхи ожили, и поджилки у меня тряслись.

Оказалось, что на сей раз обошлось без обмана. Меня в срочном порядке отправили в Берлинский Рейхсбанк. Потом включили в бригаду, которая ездила в поездах, перевозивших людей, которым предоставили отпуск, в Белград и Салоники и меняла немецкие марки на драхмы и наоборот. Обмен проводился по официальному курсу, который нам сообщили. Я считал деньги. На каждом вокзале я шел в Рейхсбанк. Вырученные деньги лежали в деревянной кассе, запертой на

висячий замок, а меня сопровождали два офицера. Потом, на несколько часов оставленный без надзора, я написал родителям несколько открыток по-французски, несмотря на запрет использовать этот язык. Некоторые из них подверглись цензуре. Недавно я нашел их.

Как и в предыдущие годы, зиму я провел в горах Югославии. Сорок два раза без перерыва я отмахал с этим составом пятьсот километров от Белграда и Салоников и обратно. Бывало, что нас преследовали на бреющем полете британские самолеты; партизаны Тито частенько взрывали железнодорожные пути. Однажды из-за такой опасности наш поезд был блокирован в туннеле. Помню удушливые клубы дыма и истошные крики, которые эхом отражались от гнетущих темных сводов.

По своему статусу я на сей раз оказался в вагоне для офицеров, где условия были не таким испытанием, как у всей остальной группы. Рассчитывая на щедрые чаевые, буфетчик стал всячески обхаживать нас.

Коррупция тут процветала вовсю. Офицер, при котором я состоял, менял золотое кольцо каждый раз, когда возвращался из Салоников. Когда я, набравшись храбрости, спросил, зачем он это делает, он сухо отрезал: «Не вмешивайтесь, это секрет». И правда, золото, как и кожа, и спиртное, в Греции стоило дешево и доставалось очень легко. Я не имел доступа к этому резервному источнику дохода. Я проявлял иную, простительную пронырливость: постоянно перемещаясь вместе с конвоем, я не тратил своего жалованья и с самого Белграда старался время от времени посылать родителям с военной почтой блоки сигарет, которые они меняли на мясо.

Наступило 20 июля 1944 года: покушение на Гитлера в Растенбурге, совершенное графом фон Штауффенбергом. Пропаганда кипела гневом: ведь задумывали убить самого фюрера. Такое бесчестье надо было как-то замять. Внезапно наша командировка закончилась. Я вернулся в берлинские казармы. Опять без профессии, я годился только для муштры под брань распоясавшихся младших офицеров, вовсю выказывавших свое свирепое усердие.

Повсюду воцарился страх. Бомбили теперь с удвоенной силой, листовки сыпались как из ведра.[47] Но большинство берлинцев, казалось, хранили стоическую верность своему фюреру. Набившись в бункеры, мы получили задание помогать гражданским лицам, которые, как и мы, целых сорок дней страдали от непрестанных дневных и ночных бомбежек. Сорок дней мы провели в этих норах, сообщавшихся с метро. Сорок дней не видели солнца, в то время как в самом метро все чаще

случались приступы паники. Приходилось выносить мертвых и раненых. Прямо на земле рожали женщины.

Потрясенный этим кошмаром, я исполнял свой долг автоматически. В этом подземном аду я был бесконечно одинок. Откуда мне, кому едва перевалило за двадцать один, было взять силы побороть душевное смятение, желание умереть? Жужжание моторов бомбардировщиков, глухие вспышки и краткие секунды тишины перед взрывом, прежде чем раздадутся крики, — я все это слышу до сих пор.

Мечта о великом рейхе повсюду трещала по швам. Сталинградскую битву Гитлер проиграл, союзники были в Риме, только что произошла высадка в Нормандии с решительным прорывом в Авранше, и высадка в Провансе-Латтра-де-Тассиньи была неминуемой. Вот-вот должны были освободить и Париж. В начинавшемся беспорядке создавалось некое подобие роты. На сей раз меня признали годным к отправке на русский фронт, ибо наступление советских войск все еще не достигло восточного берега Вислы.

Туда нас и отправили. Из поезда, который вез нас на восток, онемевших, понимающих, что нас посылают на последнюю бойню, мы видели на левом берегу горящую Варшаву. Мы добрались до Смоленска, куда русские отбросили немцев, отдалив свои тылы на двести километров от Москвы. На линию фронта я попал не сразу, но пушки грохотали непрерывно и очень близко. Дьявольская точность сталинских «катюш» повергала нас в ужас. Примерзнув к холодной земле, мы прислушивались к грохоту снарядов, гадая, не накроет ли нас. Я все еще слышу этот гул. Нами заменили измученных солдат, живших в вырытых в земле ледяных траншеях. От этой страшной зимы 1944-го память сохранила только жестокое чувство голода, такого неотвязного и нестерпимого, что мы вырывали из трупов лошадей куски мяса вместе со шкурой и ели их сырыми.

И опять я был ординарцем у офицера. Однажды, когда снаряд взорвался слишком близко, его лошадь поднялась на дыбы и понесла. Такая оплошность в моей работе привела к тому, что в полночь, вместе с одним эльзасцем моих лет, нас послали на передовую, на островок на Висле, дав только один автомат. Мы пришли туда, перейдя вброд не успевший замерзнуть приток реки. Но русские, догадавшиеся о ночной уловке, угостили нас, находившихся в таком опасно открытом месте, непрерывной стрельбой. Отвечать тем же было нельзя. Это могло выдать все наши позиции. Комбинация была затеяна только для того, чтобы продлить передышку перед новой атакой. Ох как туго пришлось тогда нам, эльзасцам, парализованным страхом и лишенным

воли. Что было нам делать, когда впереди стояли русские войска, а позади за рекой немцы?[48]

Во время одного из обстрелов моего товарища, белокурого и хорошо сложенного весельчака, убило рядом со мной. Я схватил его за плечи, долго тряс, что-то кричал ему в ухо, обнимал. Три дня и три ночи мне пришлось жить возле мертвеца, лежа в окопе. Радиосвязь перестала работать. На занятом немцами берегу ничто не предвещало, что меня вскоре заберут, даже что обо мне вообще помнят. В конце концов я стал кричать. Это спасло мне жизнь. Вечером немцы тайно приплыли за мной на лодке. Моего товарища оставили в окопе. За три дня он уже начал покрываться ледяной коркой, застыв в той позе, в которой умер. Смерть так близко от меня и три дня рядом с его телом оставили у меня чувство невыразимой привязанности. Сейчас я забыл имя друга, павшего рядом со мной, а вот его лицо помню так, будто это произошло вчера.

Я взял себе его документы. После Освобождения поехал в Страсбург к его родителям. Меня встретил его отец. Очень разволновался, налил мне шнапса. Я хотел рассказать ему о последних минутах жизни сына. Я чувствовал, что таков мой долг, даже если это вновь заставит страдать и разбередит старые раны. Те, кто остался, любят слушать о тех, кого уже нет. Но я почти пожалел о своем приезде, увидев его мать, которая за это время повредилась в уме. Она хватала меня, трясла за плечи: «Вы видели его мертвого? Так это вы и убили его!» Отец, смущенный и сам едва живой, проводил меня до дверей и нежно поблагодарил.

Я снова попал под начальство офицера. Он был молод, но уже носил много орденов. И снова мы ползли по мерзлой земле. Ночи стояли жуткие, повсюду мне мерещились тени, они шевелились. Русские гораздо привычнее немцев к этой промерзшей почве и безлунным ночам. Больше всего я боялся, проснувшись, слишком поздно увидеть, как прямо из-под земли вырастет мой убийца: холод вызывал непреодолимое желание спать, а глубокий сон был опаснее всего.

Однажды вечером, вернувшись после обхода всего расположения войск и передав последние распоряжения своего хозяина, я, войдя в наше укрытие, застал его с интересом слушающим Лондонское радио.

- Но, герр лейтенант, ведь вы не имеете права! У нас могут быть неприятности!

- Да ладно вам-то еще! Надо же знать обстановку. Так вот, должен сообщить, что дело швах. Самое время сбежать.

Да, это правда, разгром немецкой армии был неминуем. Стоя

навытяжку, я чувствовал себя озадаченным, меня обуревали сразу тысячи разных мыслей.

Он добавил:

- Вы уедете со мной. В конце концов, мы оба не более чем «рейнландеры», жители рейнской долины. Мы хотим вернуться к себе домой, я в Колонь, вы в Страсбург. Быстро приготовьте легкий багаж. Ну что, согласны?»

Сперва я подумал, что бросаю своих эльзасских товарищей, которых тут быстро добьет русское наступление, потом — что окажусь дезертиром вместе с этим немецким офицером. Но я был согласен. Я собрал скудные припасы, пока он рассовывал по карманам компас и наши перезаряженные револьверы.

Линию фронта нам удалось перейти незамеченными. «Тот, кто умрет, возьмет документы другого и передаст семье», — сказал он мне. Даже при том, что говорил он со мной всегда приказным тоном, я испытывал к нему уважение. Мы в одинаковых условиях рисковали жизнью, и между нами возникло нечто вроде дружбы. Мне в этом повезло: все произошло стремительно, не пришлось долго раздумывать, становиться ли дезертиром. В конце концов это и вправду был единственный шанс спастись. Однако мы слишком недооценили расстояние от Вислы до Рейна: около двух тысяч километров.

Соблюдая осторожность, мы передвигались только по ночам, а днем укрывались, ложась на землю. Прогноз офицера оказывался верным. Танки, чье передвижение вскоре донеслось до наших ушей, были конечно же русскими. Немцы, которых окружали, сперва разбивая на маленькие группы, не могли долго сопротивляться. Большинство из них уничтожались на месте, потому что мешали продвижению вдоль дорог. На третий день нашего бегства на запад я не сомневался, что всех моих товарищей, насильно завербованных вермахтом, уже нет в живых.

Немецкие «пантеры», потеряв уверенность в безопасности пути, вслепую стреляли во все стороны, как делают охотники, чтобы вспугнуть дичь. Быть может, мой напарник по побегу слишком внезапно высунулся из чащи, чтобы осмотреть дорогу? Слепая пулеметная очередь попала ему прямо в грудь. Он упал и скатился по откосу вниз. Я не шелохнулся, пока он бился в агонии у подножия. Бронетанковая колонна проехала, казалось ничего не заметив; больше огневых ударов не было. Я смотрел на колыхавшиеся гусеницы, и на мгновение мне показалось, что танк едет прямо на нас. Но опасность миновала, и я попрощался со своим мертвым товарищем; взял его документы и компас. Потом, не имея возможности похоронить его, я забросал тело тонким снежным покровом.

Оставшись один, я почувствовал, что силен и полон решимости. Дождался ночи, чтобы перейти убийственную дорогу. Кругом стоял березовый лес. Я по-прежнему шел на запад, ориентируясь по звездам, когда это можно было сделать. Мне хотелось отойти подальше от мест, где разыгралась драма. Вдалеке, на полянке, прямо посреди леса, передо мной вдруг выросла избушка. Я услышал, как в прилегающем к ней хлеву мычит брошенная скотина — верный признак того, что совсем недавно обитателей избушки вырезали или они поспешно бежали; над печной трубой еще вился дымок. Я вошел. Ни звука. Чтобы рассеять мрак, я зажег спичку и увидел широкий коридор, на стене висела пожелтевшая карта, на вешалках — одежда. Я нашел и еду, горбушки хлеба, створожившееся вонючее молоко и маслобойку, которая вполне могла сбивать масло. Рискуя быть замеченным, я развел огонь.

Что теперь со мной будет? Для того чтобы выжить в новых условиях, надо было подумать, за кого себя выдавать. Кем я был? Эльзасцем? Французом? Немцем? Я был предателем? Депортированным? Пленником? Дезертиром? В тот момент я представлял собою лишь того, кто пытается спастись от пуль войны, в которой мне не было места. Как затравленное животное, я действовал не думая. Повинуясь инстинкту, разделся и сжег униформу вместе со своими немецкими документами и документами моего погибшего друга. Я просто запомнил его фамилию и адрес. Это на тот случай, если удастся выжить. Оставил только черные четки матери и несколько семейных фотографий. Теперь, если мне суждено было попасться немцам, я был немцем, чудом убежавшим от наступающих русских. Если бы меня схватили русские, я был французом, бежавшим из лагеря, бывшим узником, скитающимся по польским лесам. На широкой кровати, под толстым пуховым одеялом, возле догорающей печки, я почувствовал себя немного спокойнее, рассеянно перебирая четки, которые всегда носил на шее.

Я спал глубоким сном. На рассвете еще громче замычали коровы. Я видел, что их вымя сочится молоком, но я ведь был родом не из деревни и не знал, как их подоить. К тому же очень опасался, что они ударят меня копытом. В доме была швейная машинка, ее челнок смазали маслом. Глядя в осколок зеркала, я по-новому причесался, уложив волосы соскобленной маслянистой жидкостью, делая смехотворно кокетливые ужимки. Я улыбался своему отражению. Эта дикая вольность возвратила мне частичку меня самого, подлинного. В сумерках я вышел осмотреть окрестности. Пейзаж был бедный и совершенно равнинный, местность скорее болотистая, поросшая березками и зарослями

папоротника, все было в снегу и застыло от мороза. Я изучил карту местности, прибитую гвоздями к стене, и нашел на ней дом и ведущие от него дороги: неподалеку была деревня. Вторая ночь прошла тоже без приключений. Но здесь оставаться было нельзя, тем более что еды уже не осталось. Я облачился в гражданскую одежду лесного смотрителя. Дождался наступившей ночи, чтобы пойти по дороге, которую разглядел на карте. И пошел по ней. Очень скоро вдали стали заметны струйки дыма над человеческими жилищами. Из-за сильного мороза дым валил густо.

На лесной опушке у самой деревни я различил часовых; вооруженные, они стояли прямо на дороге. Я услышал крик по-русски: «Кто здесь?» На первый раз мне повезло. Я ответил как можно четче: «Французы!» Пребывание в Югославии не прошло даром — я кое-как понимал славянские языки. Стрелять не стали, но накинулись на меня сразу четверо или пятеро. Я был полностью в их власти. Меня привели в дом, где большую комнату освещало множество керосиновых ламп. В этой компании, где все мужчины казались уже крепко выпившими, я по пуговицам и нашивкам, самому осмысленному выражению лица и не такой расхлябанной манере держаться, как у всех остальных, без труда угадал офицера. Все смотрели на меня с интересом и недоверчиво. Мне показалось, они не верят тому, что я назвал себя французом. Мои волосы все еще покрывал слой масла из швейной машинки. Один из них закричал: «Шпион!»

Так я шпион? Офицер приказал мне раздеться. Мои часы забрали. Страх поднимался от живота все выше. Четки матери, висевшие у меня на шее, привлекли внимание. Еще один воскликнул: «Католик!» Четки ведь носят в основном верующие. Мне разрешили одеться. Они попытались выяснить как можно больше во время этого коллективного допроса, но это было невозможно из-за отсутствия переводчика. Я говорил: «Де Голль! Сталин! Коммунист! Француз!» Ответ, на который я рассчитывал, наконец последовал: офицер протянул мне свой стакан. Я был допущен в их общество. Мы чокались за Францию, за Россию. Мне пришлось пить их эликсир. Это был спирт, разбавленный эссенцией для заправки танков, дерьмовое пойло, которое тут же свалило меня с ног. Тосты, произносимые все чаще заплетающимися языками, говорились и говорились. По моей худобе они, должно быть, подумали, что я бежал из лагеря: и Треблинка, и другие концлагеря были совсем недалеко. Я имел право на кусок хлеба. Я был счастлив: вот они, мои освободители. Жизнь опять совершила крутой вираж. Эта ночь выдалась для меня не такой тихой, как предыдущая, потому что все

оглушительно храпели; по правде сказать, от них и воняло. Но и это мне тоже нравилось.

На следующий день отряд снова отправился на запад. Эти люди тоже много орали приказным тоном, но совсем не так, как немцы. Я ни на шаг не отставал от офицера, втайне надеясь на его покровительство. Ибо, хотя моя стратегия оказалась правильной, положение в целом оставалось очень шатким. Тем временем я стал бывать в походной столовой и ел почти досыта, иногда с горячительными напитками. И все-таки мне было страшно среди этих мужиков, вечно пьяных, совсем не знающих меня, ведь они в любую секунду могли пальнуть в меня из винтовки или револьвера. Я никак не мог почувствовать, что спасен.

Наступила весна 1945-го. Мы продвигались от деревни к деревне. У меня перед глазами проходили однообразные, сменявшие друг друга картины военного быта: марш-бросок, окружение, аресты, расправы. Каждую ночь офицеры занимали самый лучший дом в деревне. Пройдя Польшу, мы подошли совсем близко к немецкой границе.

В один прекрасный день к нам приехали две офицерские жены. Они привезли радиооборудование. И немного говорили по-французски. Они были образованны, и я с удовольствием поболтал с ними за ужином, когда отряд остановился на привал. Как-то раз они дали мне послушать французское радио. Тогда-то я и услышал новость, взволновавшую меня до глубины души: Франция была освобождена. К моему полному счастью, они сшили маленькую бело-красно-синюю нашивку для моей куртки. Нацистская Германия была разгромлена, и русские, подавляя еще остававшиеся небольшие очаги сопротивления, быстро продвигались вперед. Жизнь наша значительно улучшилась, теперь мы ели бриоши, варенье и вишни, вымоченные в водке. Спиртное лилось рекой. За все время, проведенное мной с Советской армией, я не припомню, чтобы был по-настоящему трезв. Вечерами, подняв пьяные и увлажнившиеся глаза к небесам, я начинал мечтать, что, сбежав от всех этих ужасов, покончу со своими проблемами и очень скоро вернусь в родной Эльзас. Как жестоко я ошибался.

И вот мы пришли в большую деревню, название которой я давно позабыл, если вообще когда-нибудь знал. Дома в ней были большие и стояли довольно далеко друг от друга. Едва рассвело, меня разбудили крики. Все выбегали из домов, вопя на ходу. Я понял только, что командир не пришел на перекличку. Он разместился в деревенском доме, стоявшем как раз напротив моего. Там его и нашли, лежащего поперек кровати, убитого,

плавающего в собственной крови.

Дальше события развивались очень быстро. Отряд приказал всем жителям деревни собраться на главной площади. Мужчин построили у кладбищенской стены, включая немногочисленных пленников в немецкой униформе. Меня, все еще державшегося моего офицера, это происшествие не могло не коснуться тоже. Сотрудник службы военной безопасности потребовал, чтобы меня отдали на расправу вместе с ними: я тоже был подозрительным элементом. После бурного препирательства моему офицеру все-таки пришлось подчиниться. И вот я стоял спиной к стене среди этих людей, молодых и постарше.

Я пережил пытки в гестапо, был интернирован в Ширмек, бился врукопашную в Хорватии, побывал под бомбардировками в Берлине и Греции, под обстрелом в Смоленске, избежал русских автоматных очередей, когда дезертировал, и вот через минуту погибну от пуль русских, освободивших половину Европы, это ли не абсурд? И так-то мне суждено умереть, не увидев вновь ни родных и близких, ни своей родины? И никто не узнает, что в это холодное польское утро, после стольких несбывшихся надежд, я буду расстрелян и так завершится моя жизнь, раскачивавшаяся между бессмысленными войнами, в самом сердце хаоса истории, сошедшей с ума. Коммунисты не были мне врагами, ведь это они освободили меня от нацистов. Почему же они хотят расстрелять меня?

Что за дикое вдохновение снизошло на меня в ту минуту? Отойдя немного от кладбищенской стены, к которой нас грубо подтолкнули, я шагнул вперед и запел «Интернационал». В холодном воздухе зари мой голос показался мне твердым. А все происходившее на моих глазах безумие вдруг сменилось странной, ошеломленной тишиной. Потом возникло явное замешательство. Конечно, пары вчерашнего алкоголя и скорбь по погибшему товарищу тут же вызвали желание быстрее покончить с заложниками. Но смелость этого француза, у которого на плече красовалась трехцветная нашивка, представителя страны — официальной союзницы, казалось, поколебала их решимость. Да как же можно вот так, под горячую руку, расстрелять меня, как какого-то жалкого заложника из деревни, раз я пою их священный гимн?

Когда я, измученный, уже заканчивал петь вполголоса куплет этой знаменитой песни, который один только и знал, то увидел, как два офицера скомандовали взводу опустить оружие. Мне приказали выйти из строя. Я рванулся к ним, потерявший голову от благодарности и совершенно не помня себя.

Взвод снова вскинул ружья на плечо, и вот дюжина

заложников рухнула, прошитая пулями. Тогда командовавшие расстрелом подошли к тем, кто еще хрипел, чтобы из милосердия добить их выстрелом в затылок из револьверов. Затем русские офицеры приказали солдатам снять с трупов обувь и одежду, которая могла им пригодиться. И вот наконец женам и детям было приказано приблизиться: теперь им разрешили оплакать своих сыновей, братьев, мужей и отцов.

Русский отряд собрался на кладбище, у вырытой ямы, чтобы поспешно предать земле тело своего командира, распростертое на обычной доске. Некоторые рыдали. Не помню, был ли прощальный оружейный салют. Зато прекрасно помню другое: только что смотревшего прямо в лицо смерти, натянутого, как струна, меня обуревало неудержимое и абсурдное желание хохотать.

А через несколько дней, после стольких месяцев жизни бок о бок, пути наши разошлись. Русские стремились как можно быстрее дойти до Берлина, ведь речь шла о договоре с союзниками о разделе Германии. Как известно, так оно и произошло — эта страна была разделена на две части и просуществовала в таком виде почти полвека.

Мои русские друзья составили список, где в одной графе были немцы, а в другой — те, о ком они твердо знали, что это не немцы. Первым предстояло уехать на восток и попасть в ГУЛАГ, откуда не возвращаются. Других, среди которых был и я, построили в длинные колонны мучеников, бредущих по дорогам и пополнявшихся беженцами из лагерей смерти, присоединявшимися к нам. Мы пришли в польский город Битгош. Там нас передали властям лагеря, в котором я встретил несколько французов. Нам объяснили, что нас скоро отправят на родину. Пока что мы жили вместе с депортированными, которые выглядели словно живые мощи. Как раз тогда двери всех лагерей распахнулись, выпустив на свободу населявших их галлюцинирующих и умирающих призраков. Кучи трупов, обнаруженные нашими освободителями, наконец позволили по-настоящему оценить размах нацистских зверств, чудовищность преступлений, подобных которым еще не бывало.[49]

До сегодняшнего дня, признаюсь, я не в силах сопротивляться своему неодолимому отвращению ко всему немецкому. Прекрасно понимаю, что это несправедливо и может обидеть до боли, особенно молодое поколение, абсолютно неответственное за жестокие преступления, совершенные их родителями, но иначе я просто не могу: это что-то слишком глубоко осевшее в сознании, чтобы я мог его контролировать. Моя добрая воля хотела бы обо всем забыть, но тут начинает неистовствовать

память.

В том лагере для репатриантов содержались одни мужчины. Мы ели почти досыта. Я мечтал о Франции, и мечты уносили меня далеко, ведь она была уже свободна, хоть и в тысяче километров отсюда. Соблюдая осторожность, я почти ни с кем не заговаривал. Я просто чувствовал себя счастливым, что еще жив.

Еще с конца зимы 1944-го я наконец начал осознавать, что все кошмары позади. Тихонько принялся я высматривать знакомые лица; снова попытался разговаривать по-эльзасски и даже по-французски, ведь говорить на этом языке было запрещено с июня 1940-го. Я и сейчас еще не совсем изжил в себе этот запрет: и сегодня немецкий, эльзасский и французский мешаются в мозгу и делают ломаной мою речь; до сегодняшнего дня, если езжу по делам, всегда беру с собой немецко-французский словарь.

И наконец нас передали под управление Красного Креста, с которым союзники заключили международное соглашение. Мы думали, что нас репатриируют по направлению с востока на запад. Но пришлось разочароваться: оказалось, нас повезут по направлению север—юг, через Одессу и дальше по Черному морю. Тысяча километров. Сформировали транспортную колонну. Поезд отправился в очень долгий путь. Иногда, оставленный без присмотра русским командованием, он часами мог стоять на перроне какого-нибудь заштатного городка. Были такие, кто использовал эти остановки, чтобы завалить каких-нибудь женщин прямо под козырьком входа в вагон. Другие все пытались найти курево. Что касается меня, я почти не передвигался по поезду, только считал церковь за церковью, когда проезжали деревню за деревней. Моя усталость была бесконечной.

Вспоминаю 8 мая 1945 года. Прекращение войны. Наконец-то после такой резни в Европе воцарился мир. Мы были все еще на польской земле. Наш обоз снова стоял в деревне, и мы бродили по улицам. Звонили во все колокола. В церквях народу было полным-полно, благословения и возгласы «Аллилуйя» сменяло звучание «Тэ Дэ-ум». Люди молились, опускаясь на колени прямо на тротуарах. Но я больше не видел смысла в молитвах. Меня снова мучил голод. В моей сумке не было ничего, кроме новенькой, красиво упакованной зубной щетки. Мне удалось обменять ее на рынке на кусок хлеба. Тогда мне еще не было даже двадцати трех, и я хорошо помню, с каким гневом смотрел на все это. Простить такое? В крайнем случае — только тех, кто смиренно попросит о прошении. Но как простить остальных?

Мы наконец прибыли в Одессу, в вагоне «40 человек — 8 лошадей». Для ослабленных, больных организмов жара тех летних дней 1945-го оказалась невыносимой. Многие умерли, в

основном от тифа. Их трупы мы сбрасывали вниз каждый раз, когда проезжали мимо реки. А когда наконец благополучно прибыли, то не смогли попасть в эвакоприемники — все они были уже битком набиты и к тому же изрядно разрушены. На берегу реки просто поставили палатки, расселив туда людей по национальному признаку. Каждая группа ставила палатку рядом с деревом, к которому гвоздями прибивались сообщения, информация о поисках, назначение встреч. Неистребимая жажда общения овладела нами после всех наших кошмаров и трагедий. Жажда снова встречаться и говорить друг с другом, толкаясь в огромном потоке людской массы.

Там я встретил одного аптекаря с улицы Соваж из Мюлуза, выжившего в лагере. Точнее сказать, это он узнал меня, потому что я тогда находился в состоянии, близком к полной потере памяти, что ввергало меня в еще большую тоску. Он убедил меня, что я действительно сын кондитера Зееля. Я показал ему несколько семейных фотографий. Он о них рассказал мне. Путешественник без багажа и без прошлого, я только так смог вспомнить о крохах своей разрушенной личности.

Благодаря помощи Красного Креста я наконец получил возможность дать знать родителям, не имевшим от меня новостей уже восемь месяцев, еще с битвы под Смоленском, что я до сих пор жив. Это очень поддержало меня, даже при том, что рассчитывать на ответную весть ни от них, ни от братьев или сестры не приходилось.

Были среди нас и священники в гражданском платье, избежавшие смерти в лагерях. Сторонясь любопытных взглядов, встав под деревом, лицом к морю, они освящали облатки, а мы с моим другом, уроженцем Тарна, служили мессу. Наше богослужение было подпольным, ибо те, благодаря кому мы возвращались на родину, как и наши угнетатели, по своей идеологии также крайне враждебно относились к любой из Церквей. Приходилось вести себя как можно осторожнее. Эти минуты задумчивой медитации помогали нам относиться ко всему плохому терпеливо, с воодушевлением и радостью ожидать столь желанного возвращения.

Уж не знаю почему, но меня, который был мельче и неприметнее всех, охранявшие нас власти назначили ответственным за порядок в этом кочевом стойбище. Пришлось предотвращать неизбежные ссоры и следить за общей гигиеной, так как всех встревожило появление среди нас малярии. Испуганный такой ответственностью, я обратился ко всем, взывая к здравому смыслу и всеобщей солидарности: «Будем же разумны, ведь еще несколько дней — и мы дома. Уж раз мы выжили среди

такого ужаса, облегчим друг другу существование. Давайте соблюдать дисциплину и подчиняться общим правилам». Меня приняли не так уж плохо. Но я тоже подхватил эту болезнь, и по сей день она напоминает о себе — бывает, меня лихорадит во сне, и это приковывает к постели на долгие дни.

Но право сильного, конечно, налагает и определенные обязательства. Так у меня было, например, с одним тулузцем. Однажды вечером, совершая обязательный обход, я ему сказал: «Ты будешь делать как все: возьмешь свой котелок, пойдешь к морю, отскребешь, прополоскаешь и положишь сушить». Он молча смотрел на меня, неподвижно встав против всех, глядя мне прямо в глаза и не зная, на что решиться. Тогда я схватил его котелок и забросил в море как можно дальше. Его взгляд сверкнул ненавистью. Но он почувствовал, что все на моей стороне, повернулся и ушел.

Еще через несколько дней явились с инспекцией врачи и офицеры. Это были французы, прилетевшие на самолете из Парижа. Очень волнуясь, я рассказал им немного о пережитом. Они ответили: «Отныне вы под защитой Франции. Никому ничего не рассказывайте. Теперь вас зовут Селль, вы уроженец местечка Делль, что на территории Бельфора». Придется скрывать, что я эльзасец! И снова камуфляж, снова все эти полуправды, эта необходимость хранить тайну.

Под предлогом проверки гигиены врачи Красного Креста в сопровождении офицеров осматривают всех обитателей моей палатки, приказав раздеться до пояса и поднять руки вверх. Так выявляют членов Лиги французских волонтеров, то есть тех, кто добровольно поступил на военную службу к нацистам. Да, это правда — им ведь наносили под мышкой татуировку с указанием их группы крови — на случай потери сознания после ранения. Они в замешательстве, и тут же их арестовывают.

Вот оно как — даже в этом лагере на краю света, уже почти обретшие свободу после таких страданий, мы опять живем среди наших врагов! Кто они, эти? Ублюдки или простофили, одураченные человеконенавистнической идеологией нацизма? Я не знаю ответа. Во всяком случае, их нашлось немало, и тем же вечером всех посадили в самолет и отправили на французскую землю, чтобы немедленно предать суду. Среди них оказался и тот самый тулузец, который постоянно вступал со мной в спор.

Мне довелось пережить минуты восторга, я бы даже сказал — обожания, когда я общался с одним молодым человеком, которого мог бы, наверное, потом разыскать, если бы захотел. Часто он задумчиво сидел на горном склоне, где я выгуливал свою депрессию. Сын посла Норвегии, работавшего тогда в

Париже, он был депортирован со всей семьей. Мы часто купались вместе, и Черное море, такое соленое, несло наши тела легко, не требуя усилий. Он не любил свою красоту, привлекавшую внимание многих. Он искал Бога и призывал его в сумерках. Верил ли он в Него? Во всяком случае, говорил, что для него это — способ отношений с миром, ориентир, свидание с высшей силой в минуты несчастий.

Мы встречались каждый вечер, но беседы наши были неловкими, потому что он с трудом говорил по-французски. Мы вновь обретали чувство ценности бытия и много раз представляли себе, как каждый из нас снова будет жить в своей семье. Мы говорили друг другу, что после долгих лет подчинения приказам в мире, огороженном колючей проволокой, вскоре опять сможем обрести энергию свободной воли, чувство личной ответственности, столько всего, чему мы разучились и что вселяло в нас страх. Важность этого обмена мнениями усиливалась длинными паузами. Мне еще никогда не доводилось встречать юношу такой благородной красоты.

Уже несколько лет как действовал договор о ленд-лизе. С самого начала наступления русских Великобритания поставляла в Россию материальную помощь. Эта поддержка оказывалась всем странам, противостоявшим власти фашистской Германии, и была потом узаконена Соединенными Штатами. Закон, внесенный Рузвельтом, был утвержден и действовал с марта 1941-го. По Черному морю тем летом 1945-го доставляли в Одессу не только продовольствие, но и оружие, самолеты и запчасти, поскольку всеобщего мира добиться пока не удалось, японцы до сих пор сопротивлялись. Возвращаясь обратно, эти колонны везли с собой пленников, уроженцев запада Европы. К нам с визитом приезжал генерал Кениг, а в это время де Голля, принимавшего живейшее участие в окончании нашего тяжелого и долгого изгнания, с большой помпой встречал Сталин. А мы — мы ждали возвращения на родину с нетерпением, которое возрастало с каждой минутой. Но морем отправляли в час по чайной ложке, очень редко, набережные вечно были битком набиты людьми, чье ожидание казалось нескончаемым. Чтобы мы могли потерпеть еще, нам устраивали приводившие нас в отчаяние ложные отправки с табличками, которые приходилось вешать себе на шею.

И вот однажды, уже в который раз, я стоял на набережной с табличкой на шее, гласившей, что я «Пьер Селль из округа Бельфор». Но в последний момент прибежал офицер, отменил приказ, и нас высадили с корабля, который с минуты на минуту отплывал в Марсель через Сардинию. Пришлось пропустить

вперед нескольких женщин, которые прошествовали прямо перед нами и заняли наши места. Кое-кто из них был на сносях, конечно, жертвы сексуального насилия со стороны агрессоров. Но были и такие, кто заходил на корабль со страхом, ибо их по прибытии наверняка остригли бы наголо. Приведенные этим в ярость, мы в тот вечер с досады пели в наших палатках женоненавистнические песни. Раздавались даже призывы: «Сбросить в море всех этих баб!»

Только позже узнали мы, что этот корабль нарвался на мину в проливе Дарданеллы и никто не остался в живых. Уведомленные властями, что я буду репатриирован именно на этом корабле, мои родители, прочитавшие новость в газетах, были уверены, что я трагически погиб в морской пучине.

Потом кончился ленд-лиз, а мы все еще были там. Сперва пошел слух, потом превратившийся в уверенность: для нас не было корабля. Это вызвало у меня ужас, тем более что в лагере теперь царила досада и назревал бунт. Тогда нам объяснили, что нас все-таки вернут на родину, но другим путем: на поезде, через Румынию, Германию, Нидерланды и затем Бельгию. И снова тысяча километров, только в другую сторону.

Вот так я все-таки вернулся домой. Помню, что в Голландии нас угощали яблоками, а на французской границе, у Блан-Миссерона, поднесли четвертушку красного винца. По мере того как мы все ближе подъезжали к милой нашей французской столице, пропускной контроль становился все строже. На наших глазах опять арестовывали коллаборационистов. Люди опять умирали в дороге.

И вот наконец Париж. Не могу описать своих чувств, когда нога моя коснулась парижской земли. В этот день, 7 августа 1945-го, нас направили в лицей Мишле, чтобы записать имена, зарегистрировать наши документы и завести медицинскую карту. Еще мне выдали карту репатрианта. Я смог дозвониться до своей дорогой парижской крестной матушки, которая была уверена, что я утонул в Дарданеллах. Начальство разрешило мне провести первый вечер во Франции именно у нее. Я позвонил родителям, которые тоже считали меня погибшим. Сказал им, что теперь уже совсем скоро смогу приехать и крепко обнять их.

На следующее утро, как только я вернулся в лицей Мишле, мне сказали, что надо ехать в Шалон-сюр-Саон, где был центр специального контроля для уроженцев Эльзаса и Лотарингии: там проводили последние формальности и выявляли остатки коллаборационистов или немцев с подложными документами. У властей Освобождения действительно были впечатляющие списки имен, и они раскидывали сети для беглецов, просочившихся

сквозь последние проверки.

Но для регистрации этого огромного людского моря нужны были писари. Подрядили и меня вместе с другими. С отчаянием я записывал имена тех, кто уже мог ехать домой. А я все еще сидел, изнуряя себя за конторкой. Я, только и живший мыслями о конце четырехлетнего изгнания, теперь продолжал плесневеть за этим конторским столом, отмечая галочкой избежавших смерти, чьи лица сияли от предчувствия, что они вот-вот будут дома. Франция уже год была свободна. Каждый вечер я с военного поста звонил родителям: «Я скоро, я скоро!», но это не могло их успокоить: «Почему тебя задерживают? Тебе не в чем себя упрекнуть!»

Я приехал в Эльзас одним из последних. На вокзале в Мюлузе нас ждали журналисты. Я отвечал на их вопросы как можно лаконичнее[50], ибо моя история была не из тех, какие можно рассказывать полностью. Я уже начинал подвергать цензуре память и понимать, что, вопреки всем моим надеждам, вопреки всему, что я воображал, вопреки такому желанному возвращению, настоящее Освобождение — это праздник для других.

ГОДЫ ПОЗОРА

Необъятной была радость от того, что я наконец воссоединился с семьей. После четырех лет, о которых я уже рассказал, мы отпраздновали в один и тот же день и мое возвращение, и двадцатидвухлетие. Но мое тело было слишком истерзано испытаниями, а душа опустошена пережитыми ужасами.

Но и семья тоже изменилась. Все братья, за исключением старшего, вернулись с войны, и почти все переженились. Один побывал в немецком военном госпитале. Он попал в плен после битвы при Амьене, в 1940 году, во время стремительного наступления Германии, когда его тяжело ранило разрывной пулей. Он стал известным инвалидом войны.[51] Другой мой брат много раз сдавал для него кровь в больнице в Ренании, где тот лечился.

Что до моей сестры, то она в 1942 году уехала с эльзасским женским батальоном РАД, отправившимся на несколько месяцев позже мужского. В Германии ей пришлось поработать сперва на ферме, поскольку всех мужчин мобилизовали, потом на заводе, где производились детали для измерительных приборов; там ее и освободили силы союзников, как только вошли. Некоторым из ее подруг пришлось жить месяцами в подземных штольнях по ту сторону Рейна. Потом они очень долго вынуждены были пользоваться очками, поскольку испортили зрение и с тех пор не переносили дневного света.

Жена одного из братьев была, конечно по доносу, арестована, так как готовилась перейти Вогезы и присоединиться к участникам Сопротивления и авиации союзников. Ей пришлось посидеть в тюрьме Мюлуза вместе с ее отцом и сестрой. В гестапо ее пытали по-всякому и, в том числе, подвергали пыткам в ванной. Потом отправили на шесть месяцев в концентрационный лагерь Гаггенау на другом берегу Рейна, пока пришедшая туда Первая французская армия не освободила ее вместе с подругами по несчастью.

Старший брат вернулся домой последним, на две недели позже меня. Это был музыкант, увлеченный своим делом до самозабвения, органист и давнишний ученик Альберта Швейцера. Живя в доме, он только и мечтал организовать вместе с нами квартет. Попавший в плен на войне и побывавший в лагере в Тамбове, он и там создал ансамбль музыкантов. И вот чудесным образом мы все снова оказались вместе.

Но ведь и я тоже вернулся из ада. Из рук у меня все валилось,

и я продолжал испытывать невыносимые мучения. Но в восторге от того, что наконец опять обрел семью, прекрасно принявшую младшенького, уцелевшего в европейской резне, что называется, обманувшего саму смерть, особенно радовался, что вновь сплю в своей кровати. Я хотел бы проспать дни, недели, месяцы, чтобы мои душевные раны и меня самого наконец-то разделила широкая пропасть.

Призраком я возвратился, призраком все еще оставался: никак ко мне не приходило ощущение, что я по-прежнему жив. Днем и ночью меня преследовали кошмары, я почти всегда молчал. Мне хотелось забыть все подробности и ужасы пережитых четырех лет. Я вернулся, абсолютно измученный множеством встреч со смертью, в скорбном осознании своего полнейшего бессилия предотвратить смерть других. Неизбывная печаль обрушилась на меня. И никаких желаний я больше не испытывал.

Между тем после Освобождения и принесенной им вольности в Мюлузе опять появились гомосексуалы. Подобный феномен случился и в других местах, в кварталах больших городов, таких, как парижский Сен-Жермен-де-Пре. Все богатые буржуа-геи вернулись в наш город. Казалось, во время оккупации они вовсе и не страдали. Ни о чем подобном даже и не заикались, с заявлениями не выступали. Не было никакой общественной дискуссии по поводу того, что произошло с гомосексуалами. Ничто не способствовало тому, чтобы я прервал свое молчание. [52]

Я решил, что с меня хватит изысканных вечеринок, уже возобновлявшихся в музыкальном кафе. Это оскорбляло меня, ведь если они и не представляли себе весь масштаб проблемы, то, по крайней мере, исчезновения некоторых своих знакомых не могли не заметить.[53] Им, конечно, не пришлось жить за колючей проволокой, но они, без сомнения, слышали об облавах на гомосексуалов в Эльзасе. Им, может быть, не пришлось присутствовать при казни друга, но ведь должны же они были знать, что на этой земле, аннексированной на целых четыре года, гомосексуалов пытали, высылали, а многих просто убили.[54] До прихода нацистов — ежедневная, длившаяся годами, передача сведений в полицейский участок, а в период оккупации — добровольное доносительство — вот чем такие занимались, как считали сотни людей вроде меня.

Разумеется, Эльзас снова был свободен и находился под французской юрисдикцией. Но правительство Петена, под влиянием адмирала Дарлана, унаследовало в свое время антигомосексуальный закон, первый за сто пятьдесят лет и первый со времен Старого режима.[55] После Освобождения

правительство де Голля подвергло чистке весь французский уголовный кодекс. Если позорных антисемитских законов больше не существовало, то касавшиеся гомосексуалов остались. И понадобилось несколько бурных столкновений, чтобы эти законы были отменены, а произошло это только через сорок лет, в 1981-м.

Зная о существовании таких законов, я понимал и другое: стоит об этом только заговорить, и тебя могут привлечь к суду по обвинению в апологии «сексуальной жизни, идущей вразрез с природой». Этим юридическим постановлением, быть может, и объяснялось молчание богатых геев Мюлуза.[56] Но я видел в их молчании совсем другую подоплеку, нежели в своем собственном. Ведь я своим присутствием портил их общество. Что до прогулок в скверы, они стали очень опасными, так как случаи ночных изнасилований теперь происходили во много раз чаще. Откуда могла появиться эта новая волна ненависти к гомосексуалам? Должно быть, ее испытывали те, кого привела в ярость победа союзников. Накачиваясь пивом, они прочесывали по ночам весь город, без труда прикидываясь шпаной или мелкими грабителями и высматривая повсюду свои жертвы. Я предпочитал уединяться.

Чтобы рассеять ежедневную тоску и преследовавшие меня тяжелые мысли, я самоотверженно занялся делами других. Эльзас после войны находился в самом плачевном состоянии, что особенно отразилось на его простых жителях. С кузиной по материнской линии мы основали ассоциацию пострадавших Мюлуза, секцию социальной помощи жертвам военных действий в Эльзасе. Согласно особому реестру, заведенному ею для учета социальной помощи, я уведомлял семьи бедняков, что они могут прийти и обзавестись у меня одеждой, банками сухого молока и кофе. С тех пор три года подряд, по три раза в неделю, в коридор нашего семейного гнезда выносились ящики и бедные семьи приходили к нам, а я раздавал им все это добро.

Этим можно было заниматься только в свободное время или после работы, так как мне пришлось без промедления подыскать какое-нибудь профессиональное занятие. С помощью брата, работавшего у Валиера, я оказался на текстильной фабрике, однако опять на самой нижней ступеньке социальной лестницы. Я отвечал за склад товаров и работал в кладовых, выходивших прямо на мюлузский вокзал. Этот квартал в 1944-м пережил очень жестокие бомбардировки союзных войск, оставившие после себя сотни и сотни жертв. Ходить там можно было только по деревянным мосткам или шлепать прямо по воде, собиравшейся в зиявших воронках от бомб.

Обет молчания насчет моей гомосексуальности, наложенный

отцом после моего возвращения из Ширмека, продолжал быть законом для семьи: с моей стороны никаких откровенностей, от них никаких вопросов. Мы вместе делали вид, будто ничего не произошло. Но ярлык гомосексуалиста прочно приклеился ко мне. И моя «реинтеграция» в семью смущала самых озлобленных или тех, кто особенно чутко прислушивался к общественному мнению.

Помню, как в самые первые послевоенные годы во время домашнего приема один из гостей, глядя мне прямо в глаза, принялся смешить присутствующих, изображая ужимки гомиков. Я переглянулся с родителями, и мы поняли, что лучше выйти. Появилась неловкость, которая так и не рассеялась. Помню, как в те же годы пришлось мне пережить и другое унижение: однажды меня публично уведомили, что мне не имеет смысла обращаться к нотариусу моего крестного отца, которого мы все только что похоронили. Меня в его завещании не было — по причине, о которой легко догадаться.

Так я прожил четыре года в одиночестве, окруженный шушуканьем. Все мое время поглощали работа и эта ассоциация солидарности с обездоленными жертвами войны. Вне этого жизнь была окружена полным молчанием и незримыми отказами.[57] Семейное гнездо опустело. Для моих братьев оно оказалось недолгим перевалочным пунктом между возвращением с войны и респектабельным браком. Отец, все больше теряя обычную словоохотливость, становился задумчив и замыкался в себе.

Я сблизился с матерью. Она произвела меня на свет, когда ей было уже сорок четыре, ведь она была на восемь лет старше отца. Он же тогда страдал от сильной депрессии, и рождение последнего ребенка как нельзя лучше обновило их отношения. Братья часто вспоминали, что для матери я был самым любимым из сыновей. И действительно, родители уделяли мне много внимания и часто становились на мою сторону, когда я спорил со старшими братьями. С тех пор минуло двадцать два года, ей было теперь шестьдесят шесть. Состоялось наконец-то и Освобождение, и она все-таки увидела детей — избежавших нацистских когтей, или пуль любого из фронтов, или колючей проволоки концлагерей. Но каждодневные переживания надломили ее организм и вызвали сердечную недостаточность, которую ей и диагностировали. Она подолгу не вставала с постели, и врачи не решались давать точные прогнозы.

В послеполуденные часы братья иногда приносили ей немножко шампанского, а мои невестки — по нескольку цветков. Ожидая их прихода, она перебирала четки. Но, несмотря на изможденность, держалась она молодцом и не утратила

кокетства. Ее всегда подстригала гувернантка, а сама она подкрашивала губы и накладывала на щеки румяна. И все-таки рядом с ней постоянно должен был находиться кто-нибудь. Каждый вечер после ухода медсестры я приносил ей поесть и подбирал лекарства. Ночами спал рядом с ней, наши кровати вплотную примыкали друг к другу. Она призналась, что эта новая близость между нами дарит ей ощущение счастья. Но во сне боли часто усиливались, вызывая удушье и заставляя ее стонать часами напролет.

Едва я в 1948-м успел отметить свое двадцатипятилетие, как состояние матери ухудшилось. Наш семейный врач сообщил о тяжелых осложнениях, а именно — о прогрессирующем раке. Близость смерти делала мое общение с матерью все сердечнее. Иногда она принималась горевать, что я единственный из ее детей, кто до сих пор не женат. «Печальнее всего для меня то, — говорила она, — что ты останешься один с отцом». Но больше она ничего на эту тему не говорила и не приказывала мне во что бы то ни стало жениться.

Прошло несколько недель. Я с трудом урывал от работы время для забот о матери, как того требовало ее состояние. В то время у меня наметилась связь с молодым человеком моих лет. Жили мы в одном квартале, но каждый со своими родителями. Встречались регулярно, но, не говоря уж о скромности наших свиданий, эти отношения были не из тех, что перерастают в серьезную связь и дарят настоящее счастье, — такие легкие интрижки, конечно, не длятся всю жизнь. Так вышло и у нас — несколько месяцев спустя он заявил мне, что собирается жениться и, следовательно, нам необходимо расстаться.

Мама была единственной в семье, кто сделал несколько попыток вызвать меня на откровенность, чтобы сломить лед молчания и утешить мою печаль. Что они сделали со мной в Ширмеке, почему я возвратился такой пришибленный, молчаливый, почему я так изменился? Я казался совершенно утратившим вкус к жизни и не желал приобретать его снова. Почему же я ничего не рассказал ей? Она клялась, что никому не скажет ни слова. И тогда я каждый раз поворачивался спиной, скрывая набегавшие слезы, и прижимал ладони к губам, стараясь не поддаться искушению и не отвечать на ее мольбы.

Как-то вечером, когда я уже потушил свет и пожелал ей спокойной ночи, она протянула руку к моей кровати и, положив мне ее на плечо, сказала: «Пьер, расскажи, что с тобой случилось. Я хочу знать, что тебе пришлось выстрадать. Ты ведь знаешь, мне осталось недолго. Пьер, не держи в себе плохое, скажи мне все. Расскажи, что они с тобой сделали». Я молча зажег свет. Сейчас я

уже не знаю почему и не помню, что за слова тогда говорил, но откровенность моя была полной. Я рассказал ей все, что вы уже прочли здесь: о моей гомосексуальности, этом клейме отличия от всех, с которым так трудно жить в такой семье, как моя, в таком городе, как Мюлуз. Рассказал и о встречах с моим другом Жо. Потом перешел к маю 1941-го, к рассказу об облавах и пытках в гестапо. Наконец — о зверском убийстве моего друга и о последовавших за ним долгих месяцах террора в лагере Ширмека.

Она хорошо помнила конец того дня, когда я, придя с работы, обжирался шоколадными эклерами, а она, встревоженная, стоя за кассой кафе-кондитерской, должна была сказать мне, что меня завтра утром вызывают в гестапо. И напомнила, что ей было суждено снова увидеть меня только шесть месяцев спустя, голодного и изможденного. Она спросила, кто же мог донести на меня в гестапо. Мама подозревала моего одноклассника, вступившего в гитлерюгенд за несколько недель до вторжения немцев.

Я ответил, что на донос такого дурня вряд ли обратили бы внимание. Мне думалось о другом — это мог быть не кто иной, как полицейский офицер, за год до того принявший мое заявление о краже часов. Он не ограничился тем, что получил мою подпись, а еще и хорошенько меня отругал. Нет, больше того: в досье на городских гомосексуалистов он вписал мое имя, внес туда зеленого юнца, каким я тогда и был. Ведь позже, уже когда меня пытали в гестапо, именно этот протокол офицеры совали мне под нос, выколачивая признание в гомосексуализме.

Мать была ошеломлена. Она знала этого офицера французской полиции: «Этот! — вскричала она. — Да ведь мы делаем специально для него пироги и конфеты на каждое Рождество! Помнишь — это чтобы поменьше доносил на нас, когда проверяет чистоту тротуаров перед кондитерской!» Он действительно часто надзирал за чистотой тротуаров в центре города. Так поступали хозяева всех магазинов и коммерческих лавок, чтобы утихомирить служебное рвение и злоупотребления властью со стороны этого полицейского. Он был из тех, кто с такой же чистой совестью незаконно издевался над городскими гомосексуалами, с какой составлял протокол, что увидел на тротуаре собачье дерьмо.

Итак, я все рассказал ей. Она все выслушала. И я осознал, что мои тайны в надежных руках. Наша близость, ее деликатность и печаль придали мне силы довериться ей полностью. Плотину прорвало. Она оказалась единственным человеком, ради которого я нарушил свой обет молчания. Чтобы снова об этом заговорить, мне понадобилось еще тридцать лет. А в то время я мог открыться

только ей. Долго-долго я не мог даже представить, что откроюсь кому-то еще. Я простодушно верил, что есть вещи, о которых может узнать только мать. И я храню волнующее воспоминание об этом периоде жизни, о сообщничестве, которое потом, становясь все теснее, часто позволяло нам обмениваться признаниями, упованиями, печалями и воспоминаниями.

Рассказал я и о недавнем знакомстве. Но изобразил его как не имеющее серьезного продолжения из-за моего друга Жо — его оставшееся безнаказанным убийство, о котором запрещено было даже вспоминать, все еще жило в моей памяти. И она — она сама напоминала мне, когда я, бывало, задержавшись у ее изголовья, забывал пойти на свидание. Иногда мой новый друг, у которого не хватало терпения ждать, призывно свистел под нашими окнами. Она слышала этот свист еще раньше меня, слишком глубоко околдованного серьезностью нашей с ней близости. И перебивала: «Иди, тебя ждет твой друг». С каким сожалением я тогда уходил, зная, что мама приговорена. Иногда я отказывался покидать ее, предпочитая побыть наедине с ней еще. Все слабея и слабея, она трагическим тоном повторяла: «Мне нужно уйти поскорее, я слишком страдаю. Прошу тебя, помолись вместе со мною небесам, чтобы я умерла». Понимая, что она права, я протестовал со слезами на глазах.

Мы любили с улыбкой вспоминать те дни моего детства, когда жили в одном отеле с королевой Вильгельминой Голландской и я однажды вспрыгнул ей прямо на колени, чем несказанно ее сконфузил. Вспоминали и тот блистательный день моего отрочества, когда мы с нею церемонно открывали бал, завершавший празднества синдиката булочников-кондитеров, проводивших в Мюлузе съезд. В этот день, для всех гостей, разумеется, ничем не примечательный, мы, верилось мне, окончательно установили отношения близости и доверия, утвердившиеся с тех пор навсегда.

Способствовала ли установлению такой доверительной непринужденности моя гомосексуальность? Думаю, да. Со мной тогда редко кто говорил откровенно. И дело тут было не только в диалоге между матерью и сыном, и еще менее того речь шла об интимных признаниях между мужчиной и женщиной. Мы были вылеплены из одинаково чувствительного материала, у нас были одинаковые взгляды на людей и на мир. А ведь смерть была совсем близко: не оставалось времени скрывать свои чувства. Любовь, осененная ее тенью, потрясла меня. И я счел своим долгом рассказать обо всем.

Наступило 6 июня 1949-го. Франция готовилась с большой помпой отпраздновать пятилетие операции «Оверлорд»,

победоносной высадки союзников на берегах Нормандии. За окнами шелестела официальными праздничными украшениями улица Соваж. Мама сказала, проснувшись: «Вот сейчас я и умру. Перенеси меня в кресло». Я выскочил из кровати и усадил ее в любимое кресло. Не говоря ни слова, сильно сжал ее в объятиях. «Свари мне крепкого кофе», — сказала она, вздохнув. Она выпила кофе прямо из серебряного кофей-ничка, который я с тех пор храню с благоговением. Потом угасла у меня на руках.

Я испытывал немыслимую душевную боль. Смерть той, что дала мне жизнь, была несказанной, невыразимой потерей. Может быть, то, что я ожидал ее смерти, и подтолкнуло меня к смелым признаниям, необычным в так сильно подчиненной условностям семье. Ее смерть положила конец моим исповедям. Исчезнув, она унесла с собой воспоминания о депортации, гомосексуальности, об убийстве Жо; отныне моя жизнь разделилась на две части, а память закопали в землю вместе с той, что сделала мои признания возможными.

Эльзасские традиции требуют, чтобы траурную процессию во время похорон матери возглавляли отец и тот из сыновей, кто еще не был женат. Мне пришлось идти во главе ее вместе с отцом, который, кстати, пережил ее ненадолго. Взглядам собравшихся я предстал бледным как полотно, с охапкой красных роз, которую положил на опущенный в могилу гроб. Затем принялся громко выть. От меня отшатнулись. Тетя плеснула мне воды в лицо, два врача ввели успокоительное средство. Никто не понимал безысходности моего разбушевавшегося горя. Кто мог догадаться, что вместе с мамой ушли все мои тайны? Что она была их единственным хранителем? Мамы больше не было, и я остался безнадежно одиноким.

Теперь нужно было переустраивать дом. Я быстро понял, что при жизни всем заправляла именно она. Я остался один с отцом. По вечерам, когда я приходил с работы, мы почти не разговаривали, скрывая наш траур под обычными ежедневными заботами, пряча тоску под сухим сожалением. Моего бедного отца вскоре разбил паралич левой половины тела. Произошло это однажды вечером, когда мы в молчании ужинали друг против друга: он как раз подносил ко рту ложку, и вот она внезапно выпала из руки. С тех пор мне приходилось каждый вечер кормить его и укладывать спать. Мне очень помогала гувернантка мадам Берта, делавшая все, что нужно, да и другие женщины из семьи тоже. Все видели, как я измучился. Собравшись на семейный совет, мы решили найти ему такое место, где о нем позаботились бы как положено. Сестра мадам Берты Серафика нашла дом для инвалидов, где смогли воссоздать интерьер его

комнаты вплоть до мебели. Он умер 6 ноября 1954-го, шестидесяти семи лет, спустя тринадцать лет после моего освобождения из лагеря Ширмека, день в день. До самого конца он хранил полное молчание по поводу моей гомосексуальности: об этом мы с ним так и не сказали друг другу ни слова.

Мало-помалу я убеждался, что мне невозможно и дальше оставаться гомосексуалом. Даже освободившись из-под нацистского ярма, я не мог жить как прежде. Перспектива во всем походить на богатых геев из Мюлуза или жить в каменной тени скверов теперь вызывала во мне отвращение. Конечно, большое значение тут имело и мое беспокойство о семье, ее приличной репутации в городе. За это время один из моих братьев уже стал помощником мэра. И тогда я попытался вычеркнуть гомосексуализм из моей жизни. Мог ли я быть уверен, что мне это удастся? Гомосексуальный опыт неизгладим, и те, кто познал его хотя бы однажды, всегда к нему возвращаются.

Пока мама болела, семейные собрания проходили у братьев или дядюшек. Меня всегда сажали рядом с молодыми женщинами, они были либо невестками кого-нибудь из братьев, либо их подругами пары или партнершами по теннису. Я держался тем прохладнее, чем яснее были цели такого повышенного внимания ко мне. Я уже начал мечтать о совсем другой жизни. Мне хотелось, чтобы на меня перестали косо смотреть за столом, чтобы на меня больше не оглядывались на улицах.

У меня появилось желание создать семейный очаг, построить дальнейшую жизнь в благополучии. За этим следовала естественная надежда: завести детей, а потом и внуков. Так, думаю, я и пришел к странному желанию жениться. Может быть, оттого, что дети могли примирить меня с потерянной юностью и с жизнью. Мне было только двадцать семь, а я чувствовал себя стариком.

Я был уверен, что будущую спутницу жизни нужно искать подальше от Мюлуза и его ядовитой молвы. Я нашел адрес брачного центра в Париже. Написал, послал туда фотографию и все необходимые сведения. Я хотел бы встретить молодую католичку, поскольку не верил в «смешанные» браки, очень все усложнявшие. В моей жизни повторялось то же самое, что предприняли для знакомства и родители. Спустя некоторое время я получил первое приглашение вместе с фотографией очаровательной молодой особы.

Мы встретились в Париже, в кафе «Нотр-Дам», за собором. Она была прелестна в своей вуалетке и мне понравилась. Очень скоро она предложила мне зайти к ней и познакомиться с ее

родителями. Во время обеда у них в Сент-Уэне мне была оказана честь по иберийскому обычаю апельсина: будущие теща и тесть подносят вам плод на десерт в знак того, что заключена помолвка, и вы должны его съесть, разрезав по определенным правилам. В славянских странах так подносят солонку, и вам нужно съесть щепотку соли.

Она была дочерью испанского эмигранта, бежавшего во Францию; атеист и анархист, в своей стране он был приговорен к смерти. А его дочь все юные годы терпела разные унижения от одноклассников. Как-то раз, когда учительница назвала ее «грязной испанкой», она швырнула ей в лицо чернильницу, после чего школьная администрация наказала ее за нарушение дисциплины. Но она блестяще успевала, и поэтому ее не исключили. Потом она стала изучать право. Что до ее отца, человека неукротимого темперамента и совершенно бесхитростного, то на смертном одре он заставил всех своих детей поклясться, что нога их не ступит на испанскую землю, пока страной правит Франко.

Мы еще ни разу не обнялись и обращались друг к другу только на «вы». В тот вечер, когда я им представился, я переночевал у своей парижской крестной матери. На следующий день вернулся в Мюлуз. В пути я с удивлением думал о том, что будущее снова открывалось передо мной и жизнь еще может измениться. Грядущее перестало быть мрачной тайной.

События разворачивались все быстрее. Обручение прошло у моей крестной. И вот 21 августа 1950 года в мэрии Мюлуза мой брат, помощник мэра, оформил гражданское заключение брака. Потом мы поехали к нотариусу. Все требовалось сделать побыстрее, ибо моей невесте, работавшей секретарем в Академии, пришлось хлопотать, чтобы за осень ее успели перевести в Мюлуз. Это произошло месяцем позже, 30 сентября, когда брак был уже заключен в Сент-Уэне, в церкви Нотр-Дам-де-Розер.

Все прошло гладко. Ну почему мы остались в Мюлузе? А тем более — в отчем доме? Оглядываясь на прошлое, думаю, что именно это и было самой большой ошибкой. Ибо я не только ни на йоту не отдалился от своего детства, но мы даже спали на той кровати, где умерла мама. Сегодня я убежден, что должен был создавать семейный очаг и строить нашу совместную жизнь далеко от Эльзаса. Может быть, так я сумел бы сделать свою жену счастливее.

Мои братья часто приглашали нас на большие званые вечера. Завлекали и на балы. Я обратил внимание, что мою супругу особенно раздражает эльзасский диалект. А все говорили как раз на нем, чтобы подчеркнуть обретенную свободу и национальную

идентичность после запрещающих законов, изданных нацистами, но мою жену это все больше отдаляло от окружающих, лишний раз напоминая ей, что она не из этих мест. По-французски говорили в основном интеллектуалы, буржуа, священники и врачи. Мэрия Мюлуза понимала опасность этого языкового раздвоения. Она предприняла целую кампанию, развесив по городу афиши с лозунгом: «Говорить по-французски — признак шика!» Но Эльзас упрямился. И тогда, просто ради удовольствия слышать французскую речь, чтобы на несколько деньков позабыть, что и в трамвае, и в магазинах, и на улицах нас легко могли унизить, мы уезжали на несколько деньков в Бельфор. Мы предпочитали отдаляться, быть в атмосфере более интимной, в узком кругу друзей и родни.

Меня стала преследовать новая навязчивая идея: а не угрожают ли моему счастью женщины нашей семьи, такие дружные, такие близкие между собой? Кроме супруги, только они знали причины моей депортации. Я не мог никому ни о чем рассказывать, я никому ни о чем и не рассказывал, но вот заткнуть рот молве было не в моих силах. Я пугливо хранил свою тайну, сперва даже от жены. Что я должен был сказать ей? Лишь намного позже, осознав, как глубок наш разрыв, я стал обвинять себя в том, что долго молчал, так и не осмелившись раньше посвятить ее во все обстоятельства дела. Но было уже слишком поздно.

Скоро мы с ней стали ожидать ребенка. Но роды были очень трудными. Срочно госпитализированная в клинику Кольмара, моя жена ушла оттуда без малыша, родившегося преждевременно и сразу умершего. Пришлось избавляться от колыбельки и подарков, которые ждали новорожденного. Мы впали в глубокую тоску. Тогда нам впервые пришлось испытать настоящее отчаяние. Мне было очень тяжело, потому что наш союз до сих пор оставался довольно хрупким. Мы планировали стать родителями, сделать семью убежищем от внешних угроз, и вот судьба не захотела облегчить нам эту задачу.

Второй раз мы ждали ребенка летом 1952-го, через два года после свадьбы. Но когда жена была беременна, ее отец умер. Во время его похорон в Париже у нее случилось сильное кровотечение. Пришлось поспешно возвращаться в Эльзас железной дорогой, где нас поместили в санитарный вагон. Нам предоставили отдельное купе. Четверо или пятеро врачей, ехавших в том же поезде, были вызваны по громкоговорителю и постоянно сменяли один другого. Ребенка удалось сохранить, но ей пришлось лежать до самых родов. Я же после этого твердо решил, что нам всем троим необходимо уехать из Эльзаса.

Родился он уже в парижском пригороде. Сорок лет прошло с тех пор, а я по-прежнему уверен, что возвращаться в Эльзас мне стоит только в исключительных случаях, даже при том, что в любом другом месте я всегда чувствую себя изгнанником.

Я открыл маленькую ковровую лавку в долине Шеврез с очень скромной квартиркой наверху. Договорившись с семьей, смог расплатиться за нее ипотечным кредитом, взятым в счет моего будущего наследства. Считалось, что торговля в кредит популярна среди населения этого маленького и такого милого городка в часе езды от Парижа.

Мы стали настоящей семьей. В 1954-м родился второй сын. Дочь появилась на свет три года спустя. Это принесло нам моменты невероятного счастья. Мы с женой были согласны в том, что надо дать нашим детям католическое воспитание, не стесняясь в средствах. По воскресеньям ходили на мессу. Ее служили в маленькой очаровательной церкви, где весь первый ряд был зарезервирован для местной графини. Однажды в мае месяце, когда традиционно празднуется день Девы Марии, я подарил большой отрез голубого ковра местному кюре, чтобы тот мог украсить алтарь. Мы были четой коммерсантов, и нас очень уважали.

Поскольку в эти места мы приехали как новоселы, без здешних знакомств, то решили вместе записаться в местный церковно-приходской культурный центр. Это означало приглашения на вечера, где велись дискуссии о законах, образовании, проблемах общества. Там мы получили возможность обзавестись серьезными связями, а не простыми знакомыми, как то было на воскресных мессах, а еще мы могли теперь время от времени проводить субботний вечерок в дружеском кругу. Не имея машины и не слишком разжившись, мы пока не могли позволить себе, как другие, вечерком сбежать на какую-нибудь парижскую вечеринку.

Однажды вечером мы с женой едва не погибли. Я поздно вернулся с работы. Дети уже были в спальне. Жена сказала, что у нее невыносимая головная боль. Мы сели ужинать. Тут и я почувствовал, что у меня трясутся руки и к вискам прилила кровь. Встав, чтобы принести десерт, она вдруг пошатнулась и рухнула на пол. Тут до меня дошло, что воздух пропитан угарным газом, из-за того, что уголь недогорел. Я вынес жену на воздух. Обоих нас жутко вырвало, и все-таки мы были спасены. Дети избежали опасности, поскольку их обогревала не эта угольная печь, которую я посчитал практичным привезти из Эльзаса, того самого Эльзаса, который, решительно, преследовал нас, принося одни несчастья.

Раздумывая много лет спустя, я вновь осознаю, что с самого их появления на свет у меня сложились трудные отношения с детьми. Дочь, родившаяся последней, казалась мне дальше всех, зато была очень близка к матери. Но особую неловкость я испытывал в отношениях с двумя сыновьями. Это были очень красивые мальчики. Может быть, я словно подглядывал за ними? Я очень боялся, что мое поведение окажется двусмысленным. Я не знал, как выразить им свою любовь без опаски, что ее неверно истолкуют.

Невероятная скромность словно парализовывала меня. Я видел отцов, которые играют с детьми, тискают их, целуют. Мне же пришлось долгие годы жить в страхе, на деле совершенно абсурдном, как бы моя любовь к ним не перешла в нечто иное. Это была не совсем скромность, скорее чувство смущения, запрещавшее мне заходить в их спальню или в ванную, когда они там были. Это смущение продолжалось всю нашу совместную жизнь и, пока они росли, незаметно отдаляло меня от них.

Очень быстро оказалось, что наша квартирка неудобная и недостаточно просторная. Торговля коврами отнюдь не процветала. Через несколько лет биржевой кризис положил конец всем надеждам, которые мы возлагали на наш магазинчик. Занимаясь детьми, жена совсем перестала работать. Выбора у меня не было: с моими профессиональными способностями, достаточно узкими, я мог подыскать работу только в Париже.

И я нашел ее в Сантье, на улице Реомюра, у Флерана. Это текстильное предприятие имело филиал в Вогезах, где производились скатерти и салфетки и полные комплекты свадебных костюмов и платьев, очень элегантные. Претендовать на руководящую должность не приходилось, разве что на место начальника склада. Но я уже не стоял, как прежде, сбывая товар клиентам, а сидел за столом, на котором был телефон.

Я принял решение вычеркнуть гомосексуализм из своей жизни. Но как наложить запрет на мысли? Необходимо было исповедаться, и мне пришлось признаться в некоторых удовольствиях, доставляемых самому себе в одиночестве. Священник тут же спросил меня:

- Думая о ком?

- О мальчике.

- В таком случае я не могу дать вам отпущение грехов.

- Но ведь это такое влечение, против которого я бессилен.

- Я очень сожалею.

- Но ведь я верный муж и достойный отец!

- Сожалею. Вы совершаете тяжкий грех. Вам нет отпущения.

Выйдя из церковного светотеневого полумрака на городское

солнце, снова ощутив мирские обязанности и соблазны, я почувствовал себя еще растерянее, чем когда входил. Почему так все складывалось? Мне приходилось встречаться со священником из общества Троицы, много писавшим о гомосексуальности. Беседуя с ним, я осмелился заклеймить период, когда меня депортировали за гомосексуализм. Но он, если и не осудил моих желаний, все равно только и толковал мне что о страданиях и искуплении, и это помогло мне не больше прежнего. Простившись со всеми этими разочарованиями, я больше никогда не исповедовался.

Меня изнуряла необходимость ездить из пригорода в Париж, отрывавшая меня от семьи. На рассвете, невыспавшийся, я уже был на перроне маленького вокзала, а приезжал поздно вечером с вокзала Сен-Мишель. Кое-кто из постоянных пассажиров убивал время в пути, перекидываясь в карты. Другие разгадывали кроссворды. Я, забившись в угол, чувствовал, как накатывает печаль, и старался дремать. Однажды вечером кондуктор разбудил меня уже на конечной станции: я не заметил, как заснул на скамейке.

Я убеждал себя, что, несмотря ни на что, создал семейный очаг и, в определенном смысле, состоялся как профессионал. Но то, чего я предпочитал не говорить даже самому себе, мучало меня, точно кость в горле. Однажды, во время дружеского обеда с коллегами, зашла речь о знакомых, которых депортировали, и я до того расхрабрился, что признался: меня тоже депортировали. Тут же посыпались вопросы: куда? почему? а пенсию вы получаете? Позже мне часто приходилось отбиваться от таких вопросов. Поскольку был я не в Освенциме и по причине, о которой старался не упоминать, потому и не получал пенсии, — то немногое, что я мог рассказать, вызвало только неловкость, и я пожалел о своей злосчастной смелости. Я тут же замкнулся в молчании, стараясь, чтобы обо мне снова забыли.

Жена иногда устраивала мне сцену: почему я отказываюсь заполнить карточку депортированного, чтобы мне платили пенсию? Это стало бы ощутимой прибавкой к семейному бюджету. Мы смогли бы купить машину, и поездки на работу перестали бы так меня утомлять. Финансовое положение семьи не позволяло сделать быт зажиточным. Да ведь ко всему прочему это действительно было бы справедливо. Теоретически она была права, но постоянно натыкалась на мой молчаливый отказ. Она не знала, что мне предпочтительнее скрыть причину депортации. И из-за этого упорного и непростительного отказа начала питать ко мне неприязнь.

Секрет, который я так упрямо хранил в себе, мешал даже

моему продвижению по службе. Ведь в среде высокой моды и прет-а-порте было много гомосексуалов. Как-то вечером один из них, генеральный директор знаменитого дома моды, предложил мне очень хорошее место в своем окружении. Я колебался: это неожиданное предложение, несомненно, помогло бы семье зажить получше. Уже решив согласиться, я все-таки посоветовался с женой. Она и слышать не хотела об этом предложении. Несмотря на громкое имя неоспоримого мастера высокой моды, ей крайне не нравилась его репутация. Наш разговор был коротким. Сперва я мягко настаивал, а потом испугался. Потому что чувствовал, что если поступлю по-своему, если соглашусь на это место, которое мне так нравилось, то рискую пойти на разрыв с ней. Самым ужасным было то, что тогда я больше не увижу детей.

Возникшее между нами непонимание становилось все больше. Связанный ее взглядами на все по рукам и ногам, я жил с мыслью, что попытки построить счастливое супружество медленно рушатся, словно все усилия просачивались сквозь пальцы. Летом на пляже я уже почти без иллюзий смотрел на наших играющих в песочке детей. Никому из них еще не было и десяти лет. Неподалеку от меня за ними внимательно наблюдала мать. Казалось, она отказывается даже слово мне сказать, точно некий невысказанный упрек разверз меж нами бездонную пропасть. Я, выходя на яркое отпускное солнце, не мог даже переодеться в купальный костюм. Следы войны и депортации в Ширмек слишком ясно выступали на икрах, испещренных рваными венами, как будто позорными отметинами, которые я не смел выставить напоказ; приходилось оставаться в брюках, как старику, хотя мне еще не стукнуло и сорока.

В начале 60-х я нашел место начальника отдела Галереи в Блуа, куда мы и переехали. Напрасно я хлопотал об этом: меня почти сразу перевели в орлеанскую Галерею, где назначили ответственным за продажи по району. Снова пришлось каждый день далеко ездить на работу.

Это был самый разгар перестройки всей системы торговли по американскому образцу: времена первых внедрений «дисконта». Я попытался освоить новую систему оформления заказов, которая теперь осуществлялась с помощью перфокарт. Однажды я перепутал ячейки и вместо одного ящика изделий с золотым шитьем отправил заказ на целую сотню. В парижском бюро, куда передавались распоряжения, не заметили ошибки. На следующее утро, придя на работу, я никак не мог понять, отчего кругом такое странное оживление: громадный грузовик загородил всю улицу, и лестницы, и лифты были загромождены ящиками. Сотрудники не знали, впадать им в панику или хохотать. У меня состоялось одно

из самых бурных в моей жизни объяснений с начальством. Пришлось поштучно оценивать этот сюрреалистический заказ во всех отделениях Галереи, включая Алжир. А я понял, что мне снова придется подыскивать работу.

Пришлось объяснять семье, почему нужно снова уезжать отсюда. Я нашел место по небольшому объявлению в Компьене и не собирался скрывать от моих будущих хозяев причины отъезда из Орлеана. Моя ответственность за куплю, сбыт и статистику не стала от этого меньше. Мы как раз тогда начали, хотя и с опозданием, получать прибыль от экономического бума 60-х годов. Продавались там холодильники и машины. Потом мои новые хозяева послали меня на несколько лет в Руан. Снова мы меняли жилье. И это было еще не все, потому что потом меня заставили вернуться в Компьень. Этот период постоянной нестабильности, нескончаемых переездов и непрестанных перемен мест работы ничем не обогатил нашу семейную жизнь и усложнил дружеские отношения между нами, к которым, казалось, мы уже начинали приближаться.

Моя жена устроилась работать в администрацию школы и летом часто ездила вместе со школьниками на каникулы, беря и наших детей. Сколько летних месяцев я провел в одиночестве, переполненный горьким чувством пустоты. Мы вернулись в Компьень. В марте 1968-го я неожиданно опять оказался безработным: торговый дом «Перекресток» только что выкупил сеть больших магазинов, принадлежавших моим хозяевам, вслед за чем последовала волна увольнений. Мне было сорок пять лет, сыновьям шестнадцать и четырнадцать, дочери одиннадцать.

Через два месяца разразился май 68-го. Поскольку времени у меня было больше, чем у родителей других школьников, меня уполномочили съездить в Париж и посмотреть, что там происходит. Потом я должен был поехать в Тулузу, потому что жена нашла там хорошую работу и попросила сказать свое мнение о предоставленном ей новом жилье.

Я приехал в захваченную студентами Сорбонну на машине и встал перед воротами. Недоверчивые полицейские заглянули в бардачок и обыскали багажник. После этого был дан приказ открыть ворота. Так я въехал во двор Сорбонны. Там царило необыкновенное возбуждение. Амфитеатры были набиты битком, а на лестницах спорили целые группы. В аудиториях одни просто спали, а другие занимались любовью без всякого стыда. Я сказал себе, что, если полиция начнет штурм, это кончится резней. На трибуне для маоистов я увидел одного из своих племянников. Позже он был среди тех, кого особенно потрясла смерть Мао Цзэдуна.

Вскоре я забеспокоился: машину мою чуть ли не реквизировали, и выйти обратно не было никакой возможности. Телефоны были отключены, и я не мог позвонить жене. Три дня я прожил среди этих «бунтарей», вдыхая дым и слезоточивый газ. Мы постоянно кашляли, то и дело закрывая рот платком. Я следил за дискуссиями в амфитеатре, но почти ничего не понимал в этих туманных идеологических спорах. Я видел молодежь экзальтированную и благородную, страстно желавшую справедливости и свободы, и в то же время в моей памяти остались и немыслимое распутство, и утопические схватки, угрожавшие перерасти в бойню. На четвертый день мне удалось добиться разрешения уехать.

С облегчением я поехал в направлении Тулузы, где надо было взглянуть на наше будущее жилье. Но провинциальное студенчество тоже пробудилось и, по примеру парижского, заполонило все улицы. 12 июня 1968-го я, зажатый между баррикадами и полицейским кордоном, укрылся в аллеях Жана Жореса. Едва успев выскочить из машины, я сразу же оказался на земле, скрученный полицейскими. Меня арестовали и бросили в полицейскую машину, которой счастливо избежали студенты, вооруженные коктейлями Молотова. Через несколько часов, с пристрастием допрошенный в комиссариате, я, из-за того, что мне было уже сорок пять лет, был тут же заподозрен в подстрекательстве молодежи к восстанию. Что мне понадобилось в Тулузе, если сам я из Компьеня? Несмотря на крайнюю нервозность полицейских, я успешно отстоял свою правоту и был благополучно выпущен на волю.

В 1968-м мы с женой и тремя детьми обосновались в Тулузе. Благодаря вновь обретенной оседлости детям удалось успешно закончить среднюю школу и пойти в престижные высшие учебные заведения; например, один из сыновей смог поступить в Педагогическое училище на улице Ульм. Но за десять лет, прожитые нами в Тулузе, я медленно, но верно деградировал. Это было и десятилетие заката нашей супружеской жизни. Полагаю, что больше всего нам не хватало интимной близости.

Я теперь жил не у себя, а у жены. Она работала в Доме Компаньонов на улице Пиренеев. Ее должность называлась «управляющая мать-хозяйка», то есть она самозабвенно руководила всем хозяйством этого сурового каменного строения, в котором селили молодых людей, приезжавших на курсы повышения квалификации своего ремесла и желавших достичь в нем самых высот. Колеся по всей Франции и оттачивая свое мастерство, компаньоны работали не покладая рук. Часто бывали собрания, на которых ей надо было присутствовать. На самом

деле я жил даже не у своей жены, а у компаньонов: чтобы попасть в квартиру семьи, мне приходилось проходить через большой центральный вход и пробегать длиннющие коридоры. Любой мог проверить, когда мы пришли или ушли. Я оказался в месте, где царили строгость и безмолвие. Мне встречалось множество живших здесь молодых подмастерьев — они-то чувствовали себя как дома.

Отлучку я мог позволить себе только раз в неделю — вечером в пятницу ездил на машине на большую площадь за покупками, которые жена пересчитывала и записывала сколько потрачено. Весь семейный бюджет действительно держался только на ней. Всячески зависимый от семьи, я неизбежно чувствовал себя неполноценным. На обратном пути я проезжал мимо городского бульвара, известного тем, что там было место свиданий гомосексуалов. Я останавливался и, пользуясь темнотой, предавался мечтам, наблюдая за игрой их теней. Эта жизнь была для меня запретной, но чего стоила та, какую я вел? К какому иному итогу, кроме тяжести в душе, все это сегодня меня привело? Я приезжал домой даже мрачнее обычного. У меня назревала депрессия. Начиналась деградация личности.

Каждое лето мы с семьей проводили несколько недель в Эльзасе, в Вогезах, где у моих покойных дедушки и бабушки был собственный домик. Но на меня нагнетали тоску очертания гор. Всего в нескольких километрах отсюда был Ширмек. Страдая бессонницей, я ночи напролет ходил под деревьями и вспоминал страшные картины того лета 1941-го. В 1973-м жена устроила большое празднество по поводу моего пятидесятилетия. Во время этого исключительного семейного события я обязан был всем улыбаться. Но внезапно грохнулся в обморок, и за мной пришлось ухаживать. Все смущенно улыбались и говорили слова ободрения. А моя тайна жила во мне и пожирала меня изнутри, словно рак. Мне предстояло прожить с нею еще восемь лет.

Меня привезли в Эльзас и прописали много успокоительных, и я принимал их в обязательном порядке, но они оказывали только один эффект: все время хотелось спать. Мой врач умел слушать и щедро проявлял ко мне внимание и заботу; он почти стал моим другом. Но даже ему я не осмелился открыть настоящую причину моей депрессии. Мы часто заговаривали о депортации вообще, но не касались причин моей. Помню, что все пошло как-то не так. Между нами возникла взаимная неловкость. В действительности мое состояние не улучшилось.

Парижское управление Домом Компаньонов предложило жене взять на себя руководство всем их отделением в Тулузе. Это означало, что ей придется присутствовать на всех собраниях и

хотя бы раз в день оставаться с ними на ужин. Забеспокоившись, что возросшая ответственность вконец разрушит нашу совместную жизнь, она обратилась за советом ко мне. Но я больше не в состоянии был высказать собственное мнение. Собрался семейный совет, и он единогласно отверг предложение. Самопожертвования моей жены никто и не заметил. Просто предложение такого рода больше подходило незамужней женщине, или вдове, или жене компаньона. Тогда она записала все, что говорилось на этом совете, потом подала прошение об увольнении и бесстрашно рванула в Коломье, неподалеку от Тулузы, обустраивать быт людей преклонного возраста. Но и там у нас была ведомственная квартирка, мешавшая проявлению интимности.

Мы уже почти не разговаривали друг с другом. Молчание прерывали только бесплодные взрывы эмоций, злобные и никчемные споры, когда ни тот ни другой даже не пытаются понять точку зрения оппонента. Мы разыгрывали спектакль разрыва супружеских отношений. Я стал вечно рассеянным, совершенно невыносимым и расплатился за это полным неведением всего происходившего вокруг меня. Вечером за столом со мной, напившимся транквилизаторов, случались то приступы судорожных рыданий, то я засыпал прямо за едой. Я сам не заметил, как собрал в себе все черты недостойного отца семейства. Надежда когда-нибудь вернуть безмятежность первых лет нашего союза была безвозвратно утрачена. А память о прошлом все глодала меня изнутри. Я чувствовал себя потерянным в жизни, человеком без будущего.

В 1978 году, когда мы вернулись из полного нервотрепки путешествия по Бразилии, куда ездили повидать сына-преподавателя, жена настойчиво дала мне понять, что я должен уйти из казенной квартиры, потому что она решила подать на развод. Никакой роли в этом не играл мой гомосексуализм. Просто непонимание между нами уже слишком бросалось в глаза. Кроме того, облик опустившегося человека, который жена видела изо дня в день, стал невыносим для детей. Такого отца можно было только стыдиться.

Так плачевно кончилось все, что я вынес и выносил до того, и мое отречение от гомосексуальности тоже. Ничем не кончились и тридцатилетние попытки создать семейный очаг, которого у меня больше не было.

Жена купила дом в окрестностях Тулузы. Жизнь семьи, совместный отдых во время школьных каникул продолжались без меня. Детей я теперь видел только случайно, во время коротких визитов. Процедура развода шла как положено. Иногда, обедая с

женой во время тщетных попыток помириться, я чувствовал судороги в горле, причинявшие мне страшные боли.

Сломленный, я нашел меблированную комнатку самого дешевого пошиба в центре Тулузы. Жители квартала судачили: «Этот месье все время плачет». Я перестал принимать транквилизаторы. Но вместо этого, приходя с работы, не сняв пальто и шапки, доставал из сумки с покупками бутылку красного вина и пил ее стоя, пока не рухну. У меня не было желания выпить, это просто был способ покончить со всем медленно, но верно. Отвращение, помноженное на упрямство. Я утратил всякую сопротивляемость.

Этот позор, сложившийся из тысячи позоров, прежде всего из-за позора, причиненного мною семье, привел к тому, что я опустился с головокружительной быстротой. Теперь мне нравились клошары. Я пользовался каждым случаем, чтобы поинтересоваться у них, как им в этих условиях живется. Мне хотелось убедить себя, что такая жизнь, разумеется, нестабильна, зато безмятежна, уж во всяком случае, свободна от всяких социальных обязательств и представлений. Испытывая себя, я трижды спал на уличной скамейке.

Как-то зимой 1979-го, когда я, совсем потерянный, блуждал по улицам Тулузы, я заметил юношу, который спал точно так же. Снег засыпал его уже почти целиком. Я стал трясти его за плечо: «Вам нельзя здесь оставаться!» Это было перед самым Рождеством. Без всякой задней мысли я решил приютить его у себя. На следующий день моя жена, проявлявшая обо мне заботу и регулярно приносившая чистое белье, войдя, учуяла по сильному запаху чужого. Я сказал, что приютил клошара. «Теперь еще и накорми его хорошенько!» — съязвила она, в душе одобряя меня, и, повернувшись, стремительно убежала.

Это был нелюбимый сын булочника, которого его мачеха и сестра обвинили в том, что он будто бы взял деньги из кассы. Отец грубо выгнал его. Тщетно я пытался за него заступиться перед ними. Все только и кричали: «Ничего не хотим слушать. Это всего лишь ворюга! Берегитесь его!» Я долго разрешал ему пользоваться ключом от моего жилища. Сейчас у него все в порядке, он живет с женщиной, работает в ресторане и время от времени звонит узнать о моих делах.

Как-то раз один из сыновей застал меня врасплох за очередным возлиянием. Он тут же вылил содержимое бутылки бордо в раковину, поклявшись, что не захочет видеть меня больше никогда в жизни, если я хотя бы не соберусь с силами бросить пить. Я внял предостережению и попробовал положить конец самоубийственной депрессии.

Я записался в группу психологической реабилитации, где мы играли пьесы, занимались живописью и делали сувениры. Самым главным были следовавшие за работой коллективные ужины, во время которых проходили дискуссии. Некоторые доставляли мне удовольствие. И все-таки я чувствовал себя на краю пропасти. Сегодня я уверен, что еще чуть-чуть — и я рухнул бы в безумие.

Вот что послужило предвестием этого. Мне вырезали доброкачественную опухоль. Но, получив заключение врача, допустили ошибку. Перепутав две похожие фамилии, в больнице решили, что меня на реабилитационную неделю нужно отправить в психиатрическую клинику. Когда я пришел, от меня потребовали сдать медперсоналу ремень, шнурки и подтяжки. Я увидел, что на окнах установлены толстые решетки. Во время еды санитар следил за нами, глядя нам прямо в лицо. Не давали ни ножей, ни вилок, только ложки. Охваченный страхом, весь во власти оживших кошмаров прошлого, я стал думать, что меня хотят запереть здесь навсегда. Я отказался принимать пищу и попытался добраться до телефона. Медсестра погналась за мной, пытаясь отговорить. Для усмирения меня хотели заставить принимать успокоительные средства. К счастью, мне удалось-таки прорваться к директору этой психиатрической больницы. Он разрешил мне связаться с адвокатом, после чего принес извинения за досадную неувязку и согласился с моими доводами. Теперь наконец-то меня можно было забрать отсюда. Вот такой была моя встреча уже с настоящим безумием.

СКОРБНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

27 мая 1981 года, спустя неделю после того, как президентом республики стал Франсуа Миттеран, в Тулузе, в книжном магазине «Белые тени» на улице Гамбетта, были организованы дебаты. Основная часть этих дебатов была посвящена депортации гомосексуалов нацистами. Не помню, откуда мне о них стало известно. Во всяком случае, я пришел в маленький подвальный зальчик, где они проходили. Я устроился в самой глубине. Так мне удалось бы незаметно ускользнуть при первом проявлении депрессии. Мне было пятьдесят восемь лет. С января 1969 года я работал служащим в страховой компании. Я пытался в последний раз помириться с женой. И уж точно отнюдь не собирался прославиться.

Жан-Пьер Жоэкер, директор и основатель журнала для геев «Маски», и его компаньон Жан-Мари Комбетт представляли новую книгу, вышедшую в их издательстве: «Люди с розовым треугольником», дневник депортированного гомосексуала-австрийца, как и я, бывшей жертвы нацистов.[58] Отрывки из этих записок о пережитом за два года до этого уже публиковались в первом номере ежемесячника «Гей Пье».

Жан-Пьер рассказал о своем журнале, потом о книге. Он описал депортацию немецких геев и прочел несколько страниц из этого документа. Меня трясло. Я сорок лет не слышал того, что услышал здесь. Мне рассказали ту же самую ситуацию, описали те же горести и те же варварства. Моя одеревеневшая память возвращалась к жизни словно бы толчками. Но никто, кажется, и не предполагал, что подобные веши могли происходить здесь, во Франции. Мне хотелось крикнуть из глубины зала: «Я, я, я тоже пережил все это!» Но о таком не могло быть и речи. Я все еще боялся высовываться.

Я дослушал выступления до самого конца. Потом множество пришедших столпилось вокруг ораторов, чтобы поговорить лично. Я молча ждал своей очереди. Мне не терпелось им рассказать. И вот я обратился к Жан-Пьеру Жоэкеру:

- Мсье, мне пришлось пережить все, о чем вы здесь говорили.

Он подпрыгнул:

- И в том самом лагере?

- Нет, во Франции. В эльзасском лагере в Ширмеке.

- Но ведь мы так давно ищем и не можем найти выжившего свидетеля депортации гомосексуалов в Эльзасе!

- Однако хочу сразу предупредить вас: я работаю и потому хотел бы сохранить анонимность.

Я не отпущу вас.

- Что вы, конечно, мы можем обо всем поговорить.

- Нам нужны свидетельства. Пусть анонимные, если хотите. В этом нет проблемы. Самое главное — то, что вы об этом расскажете. Вы носите в душе страшную тайну, и это касается многих, кого уже нет.

Мне показалось, что я сейчас задохнусь в этом подвале. И в то же время в моей голове с неистовой силой звучала фраза: «Готово, прорвало!» Потом мы обменялись адресами и договорились о встрече на следующий день, после того как я закончу работать, в баре «Кристалл» на Страсбургском бульваре.

На следующий день мы оба пришли точно в назначенный час. Впервые за последние тридцать лет, с тех пор как моя мать умерла, я с удивлением почувствовал, что могу говорить. Их вопросы вспахивали мою память. Я говорил медленно, очень боясь неверно передать свои воспоминания. И только для одного я не смог найти слов: для рассказа о том, как в отделении гестапо нацисты изнасиловали меня.

Снова придя ко мне через два месяца, Жан-Пьер Жоэкер принес магнитофон. Интервью появилось в специальном номере, посвященном театральной пьесе «Бент», поставленной по книге Хегера. Прошло двенадцать лет, а в нем я не изменил бы ни строчки. Он сам написал вступительную часть и комментарии к моему анонимному выступлению, и все его слова — правда.[59] Ему удалось очень бережно соединить свидетельства, которые я так долго хранил в себе. И я почтительно выражаю ему признательность за это ныне, когда его уже нет — его, как и Жана-Мари Комбетта, погубил СПИД.

За этим началом последовало серьезное продолжение. Я понял, что бороться надо именно так. Рассказывать обо всем, что пережил, свидетельствовать, о чем хватит смелости, даже пусть анонимно. Неужели остался в живых только один я? Мне хотелось знать точно, поискать других очевидцев — ведь одинокий крикун вызывает недоверие. И такое недоверие причиняет сильную боль.

За последние годы жизнь гомосексуалов и вправду очень изменилась. Лихорадочное стремление к объединению породило фестивали фильмов, демонстрации с открытым забралом. В газетном киоске на углу теперь продавали журналы с новостями для геев. Сменились уже два поколения. Первое, к которому принадлежал я, казалось, не хочет вспоминать об Освобождении. Ассоциация «Аркадия», занимавшаяся им, всего лишь лицемерила. Большинство ее членов были женатыми католиками.

Понимая, что положение «меньшинств» во Франции меняется недостаточно эффективно, следующее поколение — как раз люди

1968 года, куда более дерзкие, — основало настоящую сеть объединений; они выступали с очень радикальными политическими речами и способствовали появлению новых гомосексуальных клубов. Но все эти шумные перемены касались лишь молодого поколения. Я-то помнил только темные рощи и подпольные кабачки. Теперь во время встреч с людьми мой возраст обернулся против меня. Я чувствовал себя таким раздавленным, когда, обсуждая с трудными подростками их социальные и психологические проблемы, обдумывал сложные истории. Живет ли во мне все еще, хотя бы в виде душевной раны, мечта — встретиться с любовью моих двадцати лет? Могу ли вернуться в тот день, когда история отвернулась от меня? Снова мысленно пережить те редкие минуты 1940-го, когда мы с Жо обнимались, спрятавшись за рулонами ткани на складе, где оба работали? Быть может, да. Но как стереть из памяти то, что и теперь еще заставляет меня выть по ночам, — как забыть о его убийстве нацистами?

Прошел год. Одно время я встречался в Тулузе с группой гомосексуалов «Давид и Ионафан», ассоциацией человечной, одной из тех, редких, которые приглашали к дискуссии как молодежь, так и людей постраше. И я рассказывал им, что побывал в аду, и о том, что было до него, и о депортации и нацистах.

Наконец однажды вечером анонимность, которую я все еще стремился сохранить, внезапно лопнула. Заканчивался день, такой же грустный, как и множество других. По транзистору передали, что епископ Страсбургский в последний момент распорядился аннулировать бронь на номера, зарезервированные для делегатов европейского гей-конгресса, организованного в европейской столице Международной ассоциацией гомосексуалов. В самый канун открытия съезда сотня участников конгресса оказалась на улице. Благодаря Пьеру Моруа, тогдашнему премьер-министру, и Шарлю Эрню, министру обороны, предоставившему им военный городок в местности недалеко от Страсбурга, они все-таки смогли провести съезд. На пресс-конференции 8 апреля 1982 года епископа спросили о причинах такой возмутительной отмены. Он дал безапелляционный ответ: «Я считаю гомосексуализм физическим изъяном. Я уважаю гомосексуалистов так же, как я уважаю калек. Но если они хотят выдать свою болезнь за здоровье, я категорически против».[60] Средства массовой информации подняли вокруг этого большой шум, и некоторые воинствующие гомосексуалы подали в суд.

Услышав высказывания епископа, служившего в моих родных

местах, я подскочил на кровати. Ужаснувшийся, оплеванный, униженный. Гомосексуалисты — калеки? Я не мог этого так оставить. Гнев душил меня. Такие высказывания надо раз и навсегда пресечь. И для этого рассказывать обо всем, свидетельствовать, требовать реабилитации моего прошлого, какое было и у многих других, забытых, закопанных в землю в черный час Европы. Рассказывать, чтобы сохранить будущее, чтобы амнезия у моих современников прекратилась. Навсегда проститься с моей анонимностью: написать открытое письмо монсеньеру Эльшингеру.

Я знаю, что бываю гневлив. Мне не хотелось, чтобы мой поступок был продиктован вспыльчивой, слепой яростью. Шесть месяцев я писал и правил черновик письма. Последний вариант был готов 18 ноября 1982 года. В первую очередь я разослал его всем членам семьи. Еще до этого я на словах рассказал им, что за текст пишу. Я послал это письмо и епископу, а еще в массмедиа и газеты для гей-сообщества.[61] По случаю начала процесса против прелата, открывшегося в Страсбурге, на который приехали выступить Жан-Поль Арон, Рено Камю и много других гомосексуалов, оно было напечатано в «Гей Пье».

В тот день «обвиняемого Эльшингера Леона Артюра» представлял его адвокат. Прокурорским тоном он заявил, что все эти жалобы не имеют никаких оснований. Трибунал вынес свой вердикт в их пользу: «Сказанное не имело в виду и не оскорбляло никакой точно указанной и названной личности». Разве решение могло быть таким, если бы речь шла о высказываниях антисемитского характера? Но гомофобия законом не осуждается. Жалобщики, которые хотели изменить этот пункт французского законодательства, пошли на то, чтобы подать кассацию. И напрасно, ибо все кончилось тем, что их оштрафовали на 30 тысяч франков за клевету на епископа. И их последующее обращение в Европейский суд тоже оказалось бесплодным.

Хотя мое открытое письмо прелату имело очень маленький резонанс, я чувствовал, что избавился от тайного груза. Тогда я решил предпринять кое-какие активные действия, чтобы люди узнали о моей депортации и о депортации геев нацистами вообще. Это измучило меня и, скажу без обиняков, не принесло ощутимых результатов и по сей день. Я должен был победить неведение, хуже того — недоверие, всю глубину которого тогда только и понял. Помню молодую женщину за окошком бюро, которая сразу же перестала записывать мои данные и ошеломленно уставилась на меня, как только я к слову «депортированный» добавил «гомосексуалист». Я попросил ее продолжать запись моего ходатайства. Вдруг она вскочила и

пошла звать начальницу. Наверное, подумала, что я сумасшедший? Люблю сальные шутки? Моего досье депортированного больше не было: произнесенное вслух слово «гомосексуалист» свело к нулю и сам факт депортации.[62] Она, наивная, и не подозревала, что все это я проходил уже давно.

Если в начале таких попыток я тяжело переживал, то моя супруга, напротив, коль скоро причина моей высылки получила публичную огласку, сама решила теперь приостановить процедуру развода. Никакой роли в этом для нее не играли ни депортация, ни гомосексуализм. «Мы просто разделим имущество и будем жить отдельно, хватит и этого», — объясняла она. «Так ты будешь достаточно независим, чтобы довести до конца дело с твоим досье». Да и мои руководители не порицали меня за публичные выступления. Когда судебный процесс завершился, монсеньер Элыпингер снизошел до того, что прислал мне письмо, исполненное сочувствия.[63]

Я ощущал, что все это ободряет меня. Вдруг я понял, что окружен всеобщим уважением за свою искренность. И вести себя стал с гораздо большим достоинством. Разумеется, потому, что отныне у меня был долг: заставить людей узнать о депортации геев. И все-таки разве мог я доверять будущему? Ведь до сей минуты, хотя прошло уже десять лет, я так и не добился восстановления исторической истины.

Мои политические взгляды были неопределенными. Немного спустя после переезда в Тулузу я, будучи рабочим, искал поддержки со стороны Всеобщей конфедерации труда. Тут уж было рукой подать до коммунистической партии, и я в нее вступил. Мне нравились их протесты против всесилия капитала. Да ведь и советские люди вовсе не были моими врагами. Все погубило то, что я не снимал галстук, когда приходил на собрания сразу с работы. Еще только один товарищ приходил так же, школьный учитель, с которым мы оказались кем-то вроде сообщников. Мы что, кого-то оскорбляли нашими галстуками? Честно, я так в этом и не разобрался. Во всяком случае, нам ясно дали понять, что нам не место в компартии. Я воспринял это с грустью. Но справедливости ради должен добавить, что на тулузской радиоволне Всеобщей конфедерации труда «Мон Пайс» недавно прошла передача, где зачитывали мои свидетельства, и сделана она была так здорово, что я смело могу назвать ее своим звуковым завещанием.

Годы шли. Я продолжал отсылать многим актерам социально-политической сцены выдержки из своего досье. Курьеры и телеграммы сильно облегчали мой кошелек пенсионера. Потом, зимой 1987 года, вышла книга о «розовых реугольниках»,

написанная Жаном Буассоном. У меня были многочисленные встречи с людьми из массмедиа и широкой публикой. Они оказались куда более открытыми, чем представители власти. То, что я говорил, все еще не было услышано в высших кругах общества. Еще состоялась конференция в Бобуре, 13 октября 1988 года, проанонсированная в ежемесячнике «Глобус». Зал библиотеки был битком набит, публике представили и одного из моих сыновей. Там мои жена и дети поняли, что, если уж я заговорю об этом, меня не остановить. И все-таки ни они, ни эльзасская семья не возражали против моих выступлений.

А 9 февраля 1989-го меня пригласили на телепередачу Фредерика Миттерана. Ей предшествовали нашумевшие статьи в «Теле 7 дней» и «Ля Депеш дю Миди». Вознесение своего общественного имиджа так высоко вселяло в меня ужас, но я решился на это испытание.[64] Ведь мое досье так и валялось без отклика где-то в кулуарах министерства. Но оказалось, что сейчас, по прошествии времени, найти официальные документы о моей депортации и представить их на суд компетентных органов еще труднее. Меня опустошила эта телебеседа. После нее я отправился в Лурд.

Культ Девы Марии всегда волновал меня. Это было молчаливое преклонение, как будто поиск безмятежной ясности, неподвластной времени. Было ли это остатком веры? Или любви, которую невозможно выразить? Любви к матери? В любом случае это чувство шло из самой глубины моего сердца. Почему после тяжелых испытаний мой взгляд обращается к Лурду, как обращался он к статуе Святой Девы на склоне холма, которую я видел над лагерем в Ширмеке, когда рассеивался туман? Я уже рассказывал, как и другие тоже смотрели туда, не говоря ни слова и стараясь различить силуэт Благословенной. Почему в той польской церкви, куда я вошел вместе с русскими, я нашел в себе силы зарыть в землю статую Девы Марии из страха перед вандалами и бомбежками? В Лурд я поехал не молиться, ибо я больше не молился. Я ограничивался сдержанным приветствием. Ума не приложу, откуда во мне такая почтительная набожность. Но она отгоняет от меня тоску и возрождает мои цельность и достоинство.

Отвергнутый компартией, я понял, что политические выступления организуются там, где есть отверженные и меньшинства.[65] Мне понравилась ассоциация «SOS Расизм». Я разузнал о ней, походил на их собрания. Одним из основателей этой ассоциации был внук знаменитого в Тулузе бойца Сопротивления. Мне нравилась эта бунтующая молодежь, в ней не было презрения к меньшинствам, ее не удовлетворяло

прозябание в грязных пригородах, и она не поддавалась соблазну наркомании, для которой ее жизнь предоставляла столько возможностей.

Однажды на собрании в зале организации «SOS Расизм» я в конце концов встал и рассказал обо всем пережитом при нацизме, рассказал и о моей депортации за гомосексуальность. Не преминул и отметить вероломство истории, стирающей все, что она не хочет официально признавать. Взволнованный и усталый, я сел на свое место. Все аплодировали мне. Было решено, что я поеду в Эльзас. Поездка была спланирована и оплачена Партией социалистов области Верхняя Гаронна.

И поездка из Тулузы в Эльзас состоялась 9 апреля 1989 года. Нас разместили в замке Селестат, переделанном в здание гостиничного типа для приезжающей молодежи; он стоял в окружении большого и великолепного парка. В страсбургском отеле угостили аперитивом как дорогих гостей. Я воспользовался этой возможностью, чтобы передать свое досье госпоже мэру. Потом к нам пришли европейские парламентарии, избранники народа, объяснившие нам задачи своих партий и работу их зала заседаний. И наконец — поездка еще на несколько дюжин километров к западу от Страсбурга, в эльзасские лагеря, побывавшие под нацистской оккупацией, в том числе в лагерь Ширмека и Штрутгоф.

Ничего я так и не смог рассказать в тот день 11 апреля 1989 года в Ширмеке: здесь больше не было ни бараков, ни колючей проволоки, ни сторожевых вышек, ни виселицы. Все это разрушили. Землю, на которой раньше располагался концентрационный лагерь, теперь занимали очаровательные цветущие виллочки, счастливые избранницы городского конкурса по улучшению земельного хозяйства. Мне на любую из них даже взглянуть было невмоготу. Не осталось ничего, кроме железного портала у входа в лагерь, «украшавшего» теперь подъезд мэрии. На ребре здания была табличка, напоминавшая о нацистской бойне. У вокзального выхода воздвигли памятник, изображавший заключенного, которого схватила собака; чуть поодаль его догонял конвой. Это чтобы освежить память у тех, кто ее потерял.

Реальность всего, что произошло в этих местах, была лицемерно превращена в мемориальные таблички и символические скульптуры, и это при том, что память об этом закрытом мире еще часто тревожит нас всех. Что до «зала празднеств», этой пародии на оперный театр, в котором Карл Бук горланил свои витиеватые и полные ненависти выступления, то его недавно разрушили до основания. Зачем? Ведь его тоже следовало бы сохранить для исторической памяти, ибо никто из

тех, кому довелось слышать этот голос, не забудут зала, по которому он разносился, в аккурат над пыточными камерами. А кого сегодня возмущает, что Карл Бук, сбежавший на своем черном тягаче от войск Леклерка, смог после нескольких показушных процессов прожить еще двадцать два года тихим стариком в своем шикарном имении в Рудесберге, скончавшись в июне 1977 года восьмидесяти лет от роду?

От всего этого не осталось ничего. Вернувшись в Тулузу, я решился написать несколько размышлений об этом способе незаметно стереть коллективную память. Я отправил текст в администрацию президента республики, которая уведомила меня о получении письма и об ознакомлении с его содержанием лишь три года спустя.

В лагере Штрутгоф — а его-то коменданта осудили на Нюрнбергском процессе — все «сохранилось» получше. Еще были места, где стояли прежние постройки: несколько бараков, экспозиция, печь крематория, труба которой долгими ночами накалялась в долине в годы нацистской бойни. И сегодня кто-то часто пытается поджечь деревянные бараки, мечтая стереть из истории память об этом.

Переступить порог лагеря Штрутгоф мне помогали две служительницы. Я не сразу понял, зачем нужна такая заботливость, а только войдя внутрь — если бы меня не поддерживали, я и вправду мог упасть. Собравшись с духом, я спросил у смотрителя, привозили ли в этот лагерь «розовые треугольники». Он ответил утвердительно.[66] А я всего в нескольких километрах отсюда ходил с «голубой лентой», но ведь разницы не было никакой.

Кое-кому из нашей группы во время визита стало плохо. И действительно, эти места, несмотря на их мрачную поучительность, порождают в душе чувство ужаса, что-то нестерпимое. Упертая, структурированная по всем правилам науки ненависть хозяев жизни к самым слабым существам, «низшим». Подойдя к печи крематория, один из наших потерял сознание. А я — я вновь оказался в знакомом месте, которое мы, узники нацистов, строили, трудясь среди мертвецов, мучеников и голодающих.

Я попросил оставить меня одного и вышел в Мюлузе, в середине пути. Самый старый из делегации, я был измучен путешествием, и чувства буквально разрывали меня на части. Мы расстались очень тепло. Потом я прокатился в трамвае и снял номер в отеле. На следующий день пошел поклониться могиле одного из братьев, помощника мэра города, умершего совсем недавно, и позвонил другим братьям. Сказал, что мой поезд

уходит через несколько часов. Все они пришли на вокзал, и мы обнялись. Я был рад проявлению таких братских чувств и своему признанию.

Признание у меня хоть и было, но весьма скромное и уж точно не официальное. Дело с моим досье так и не сдвинулось с мертвой точки в Министерстве ветеранов и жертв войны. Что до главного факта депортации гомосексуалистов, то о нем и по сей день еще ожесточенно спорят: у ассоциаций, которые хотят воздать почести своим павшим во время всемирного Дня депортации, все еще нет права идти в официальной процессии. Из-за этого даже в 1989 году, во время чествования всех жертв нацистского варварства на праздновании Дня депортации, во многих городах случались резкие протесты и столкновения с полицией.

Среди присутствовавших на такой церемонии в Безансоне были и скандировавшие: «В печь этих пидарасов! Открыть печи снова, бросить их туда!» Они растоптали венок в честь депортированных геев, что вызвало возмущение многих важных чинов.[67] А парижский памятник депортации у собора Нотр-Дам, на верхушке острова Сите, был по просьбе преподобного отца Рике окружен железной решеткой во избежание таких нежелательных выражений эмоций.[68] Делегация гомосексуалов была допущена для возложения своего венка только после «официальной» церемонии. В Лилле в 1992 году вице-президента региона Норд-Па-де-Кале, который нес венок в честь депортированных геев, полиция три раза подряд оттесняла назад.

Идея увековечить память о депортации гомосексуалов нацистами приобрела конкретные очертания лишь недавно, в виде мемориальных табличек или специально установленных монументов. Сделали свое дело и помощь муниципальных властей, и призывы снизу, но все это произошло далеко от Франции. В Болонье, Франкфурте, Ла-Э, даже в Сиднее, на центральных площадях, прямо перед «официальным» памятником, теперь есть место, напоминающее и об этом нацистском варварстве. Мемориальная доска есть и в Маутхаузене, она поставлена там по инициативе группы венских гей-активистов. В Амстердаме треугольник из розового мрамора, один угол которого указывает на дом Анны Франк, шпалерами опускается прямо в центральный городской канал. И я могу представить, что в один прекрасный день такой мемориал откроют и где-нибудь во Франции.[69]

В июле 1990-го мэр Мюлуза Жан-Мари Бокель направил письменный запрос в Национальную Ассамблею государственному секретарю по делам ветеранов и жертв войны

Андре Мерику с призывом официально признать депортацию нацистами гомосексуалов, «о которой история несправедливо забыла».[70] Ответ появился спустя полтора месяца в «Журналь оффисьель»: «Гомосексуалы, бывшие жертвы депортации, как и все остальные депортированные, по праву могут рассчитывать на возмещение ущерба... Ничто не препятствует тому, чтобы гомосексуал получил статус депортированного или интернированного по политическим мотивам, если он отвечает условиям, изложенным в статьях Л. 286 и нижеследующих соответствующего кодекса».[71]

И тут вроде бы вся моя проблема заключалась в хождениях по разным инстанциям. Но все оказалось безрезультатным. Ибо как по прошествии пятидесяти лет собрать все факты, требуемые «статьей Л. 286 и нижеследующими», как это делалось для других депортированных тотчас после Освобождения? Только через два года я получил из Министерства юстиции документ, подтверждавший мой перевод из тюрьмы Мюлуза в лагерь Ширмека. Но этого им оказалось недостаточно.

В последнем письме от 23 июня 1993 года, которое я получил из Министерства по делам ветеранов и жертв войны, директор канцелярии, всячески подчеркивая, что ad hoc комиссия не окончательно отказывает в ходатайстве присвоить мне статус «арестованного по политическим мотивам», предлагал мне представить в его отдел показания двоих «непосредственных очевидцев», которые могли бы подтвердить, что я был в лагере Ширмека по меньшей мере девяносто дней. Без этого статус депортированного по политическим мотивам, давно присвоенный другим жертвам нацизма, мне не получить.[72]

Поразительный бюрократизм! Как можно себе это представить — прошло пятьдесят лет, и вот тихим вечерком на тулузской улице кто-нибудь прерывает мои одинокие и печальные прогулки возгласом: «Да я же вас знаю, мы виделись в Ширмеке!» Где таких искать? Отнесясь к требованию с уважением, я разослал сотни писем во все коммуны Нижнего Рейна, разместил маленькие объявления в местных эльзасских газетах. Что еще я мог сделать? Как можно было упустить тот факт, что в робах, с бритыми головами, изголодавшиеся, мы все были на одно лицо, к тому же нам было строго запрещено общаться? Как можно было не помнить, что большинство архивов Ширмека было сожжено во время наступления второй бронетанковой дивизии Леклерка и что архивы страсбургского отделения гестапо вернулись на другую сторону Рейна через несколько месяцев после Освобождения и их так и не нашли?[73] И вот, несмотря на все это, мне необходимо найти двух человек

— а вдруг они узнают меня спустя пятьдесят лет!

Это административное требование кажется взятым из романа Кафки, а ведь оно соответствует закону. Конечно, мне оставалось только подчиниться. Свидетельств моих братьев оказалось недостаточно. Но к кому же тогда обратиться? В лагере Ширмека я был одним из самых молодых. Сейчас мне семьдесят. Разве какой-нибудь восьмидесятилетний или девяностолетний старик, уцелевший в лагере и до сих пор живой, сможет с полной уверенностью воскликнуть: «Я вас помню!» В какой же бюрократический бред в конце концов уперлась моя борьба?

Когда меня обуревает гнев, я надеваю шляпу и пальто и, наперекор всему, иду бродить. Я представляю себе, что гуляю по тропинкам кладбищ, которых не существует на свете, мимо могил всех исчезнувших без следа, до которых нет дела человеческой совести. И мне хочется выть. Когда я смогу заставить поверить в то, что был депортирован? Когда смогу заставить людей узнать правду о депортации геев нацистами? В многоквартирном доме, да и во всем квартале, где я живу, есть много таких, кто здоровается со мной, любезно интересуется моими делами, спрашивает, что там с ходатайствами. Я благодарен им за это, и мне нравится такое панибратство. Но что я могу им ответить?

Когда мне надоедает бродить, я снова иду к себе. И снова зажигаю свечу, всегда горящую на кухне, когда я один. Ее слабый огонек — моя память о Жо.

notes

Примечания Жана Ле Биту

1

Андре Мальро: «Гомосексуальность, исключая гомосексуалиста из буржуазной среды, позволяет ему лучше видеть пороки своего класса; она заставляет понять положение дел с такой ясностью, с какой не может никакая политическая партия». (Цит. по: Jean-Louis Bory, *Comment nous appelez-vous deja?,* Calmann-Levy, 1977, p. 132.)

2

20 января 1933 года Гитлер становится рейхсканцлером. Ему сорок четыре года. Через две недели он издает закон «О защите народа». В ночь с 27 на 28 февраля рейхстаг подожжен человеком по имени Ван дер Люббе, молодым гомосексуалистом, вероятно, жертвой манипуляций. Это позволяет Гитлеру немедленно свернуть все гражданские свободы. 8 марта открываются первые концентрационные лагеря. Уже через пятнадцать дней работают пятьдесят лагерей. Через год, 30 июня 1934 года, подготовленная Герингом и Гиммлером «Ночь длинных ножей» позволяет Гитлеру, прикрывающемуся лозунгом о «гомосексуальном разврате», избавиться от СА и их руководителя Эрнста Рема.

У истока всех этих манипуляций — фигура Ван дер Люббе. «Нацистская пресса писала о поджигателе рейхстага Ван дер Люббе как об агенте большевистского заговора. Для коммунистов и демократов он сошедший с ума гомосексуалист. В действительности он оказался жертвой различных пропагандистских призывов, от которых в те времена пострадали гомосексуалы. Он — антигерой нашей истории, в которой по-настоящему противостояли друг другу только чудовища больших современных государств. Размолотый противостоящими друг другу сталинизмом и нацизмом, Ван дер Люббе — сигнал о судьбе, которая нас ждет: непонятая жертва, без адвоката, предвещающая тотальное истребление». (Gui Hocquenghem, *Gai Pied*, № 1, avril 1979.)

3

«В 1870 году эльзасцы уже пережили разгром армии, потерявшей Эльзас за два дня и раздавленной врагом, вчетверо ее превосходящим, не сумев мобилизоваться вовремя и несмотря на отчаянное сопротивление». (Jean Ritter, *L'Alsace*, PUF, 1985.)

4

«Хлынувший через две недели после того, как Петен заявил о богатых перспективах, открывавшихся для Франции новой политикой коллаборационизма, о которой было объявлено в Монтуаре, поток крестьянских семей, священников, монахинь, в соответствии с планом радикальной германизации, который немцы категорически запретили разглашать, явился для общества своего рода электрошоком». (Rita Thalmann, *La Mise au pas, ideologie et strategie securitaire dans la France occupee*, Fayard, 1991, p. 55.)

5

«Эльзасское население, преимущественно католическое, было очень встревожено тем, с каким остервенением немецкие власти обрушились на религиозные институты, неприкосновенность которых сохранялась веками, независимо от смены режимов и правителей, в силу особой специфики региона. Ведь рейх сразу заявил, что не обязан соблюдать условия конкордата 1801 года, заключенного Францией с Римом, и не хочет распространять на Эльзас и Лотарингию договор от 1933 года, заключенный с Германией». (Rita Thalmann, p. 62.)

6

Об отделениях и разделах французской территории см. Риту Тальманн, там же.

7

«В трех департаментах Эльзаса и Лотарингии партийная канцелярия приказала с 6 августа 1940 года упразднить названия местностей, улиц, таблички на памятниках, афиши и вывески на французском языке. Французский язык в школе был запрещен». (Rita Thalmann, p. 55.)

8

«Единственным способом заставить французов понять выселение евреев было дать им самим право применять этот закон». (Rita Thalmann, p. 146.)

9

Эльзасцу Камилю Эрреману было двадцать восемь лет, когда он был арестован, допрошен и затем в декабре 1940-го выслан в «свободную зону»: «Я с 1933 года знал, что немецких гомосексуалов депор-тировали: эльзасские друзья услышали об этом в Германии от других друзей-гомосексуалистов, живших в страхе, что на них донесут. [...] Меня арестовали потому, что моя фамилия фигурировала в досье французской полиции после с пристрастием проведенного суда, на котором от всех участников потребовали назвать известные им имена. Нашлись идиоты, которые принесли записные книжки с подробными адресами и многое выболтали. Так с 1933 по 1937 год были выданы сотни людей. Суда так и не было. А что касается комиссара в Кольмаре, составлявшего эти списки, он оставался на посту вплоть до конца войны». (Отрывки из: *Gai Pied Hebdo*, № 62, 26 mars 1983.)

10

Ненависть нацистов к гомосексуалам носила вполне расовый характер: «Гомосексуальность была преступлением, но не с точки зрения морали или религии, а с точки зрения расы». (Olga Wormser-Migot, *Le Systeme concentracionnaire*, Paris, 1968.) Это же подтвержает и Жан Буассон: «Евреев истребляли потому, что они наносили ущерб чистоте расы, а гомосексуалов — потому, что они наносили ущерб воспроизведению расы». (*La Triangle rose*, ed. Robert Laffont, 1987, p. 51.)

11

За несколько дней до кончины знаменитый эльзасец—участник Сопротивления Эме Шпиц, арестованный гестапо во время выполнения своего 31-го задания в Дижоне, связной сети Клебер Уранус между свободной и оккупированной зонами, и приговоренный немецким военным трибуналом к казни, оставил ассоциации гомосексуалов «Давид и Ионафан» следующее неопубликованное свидетельство: «Главной задачей гестапо в Эльзасе была охота на гомосексуалов. Их работу облегчила французская полиция, передавшая им досье на эльзасских гомосексуалов. Большую часть из них арестовали и отправили в лагерь Ширмека. К счастью, меня в их списках не было». (Свидетельство, появившееся в № 30 журнала этой ассоциации в декабре 1980-го.)

12

«Нам не были известны какие-либо группы или движения гомосексуалов в Эльзасе, но мы формировали дружеские товарищества в Страсбурге. Чтобы уйти от слежки, мы каждую среду встречались вечером в ресторане. [...] В утренние часы мы ехали на машине в кафе на окраине, которым владел один из наших людей. Пароль был: «Доктора из Селестата». Мы могли снять там комнату и до следующего утра делали все, что нам надо». (Свидетельство Эме Шпица, там же.)

13

«Тот, кто практикует гомосексуальную любовь или хотя бы думает о ней — наш враг». (Journal des SS, 14 mai 1928.) Европейский фашизм, следуя культу мужественности, настойчиво преследовал гомосексуалистов. В Италии времен Муссолини гомосексуалистов обвиняли в «преступлении против расы». Многим пришлось пережить долгие годы насильственного выселения, большей частью на острове Сан-Домино-Тремини. (Об этом снят фильм Этторе Сколы «Особенный день».) Эти высылки не всегда признаются государственными властями Италии. (См. свидетельство депортированного итальянца: *Gai Pied Hebdo*, 23 mai 1987.)

14

Редкое свидетельство со счастливым концом, принадлежащее женщине, приводится в работе Вальтера Кемповски: «В 1936 году я работала в книжном магазине, где один из сослуживцев был гомосексуалом. Они посадили его, собираясь отправить в Оранинбург. Тогда одна моя подруга шумно ввалилась прямо в гестапо: «Где он? Я без него жить не могу, моя постель безнадежно пуста...» Через десять дней они выпустили его с наголо обритой головой». (*Allemands, le saviez-vous?*, Encre, 1980, p. 48.)

15

Внутренний документ отделения гестапо в Мюлузе от 27 апреля 1942 года, содержащий перечень «превентивных полицейских акций» до этого дня, начиная с 27 июня 1940-го, включал в себя 230 человек, вывезенных в неоккупированную Францию под грифом «профессиональных уголовников», а также сутенеров и асоциальных элементов, и 120 человек под тем же грифом, не вернувшихся из французской эвакуации, как и 260 человек из их окружения. Таким же образом было эвакуировано 95 гомосексуалов и 19 человек из их окружения, 42 цыгана и 240 человек из их окружения. В тот же день немецкие власти в лагере Ширмека подтвердили наличие 33 «профессиональных преступников» и 9 гомосексуалистов, из которых 11 «профессиональных преступников» и один гомосексуалист находились под усиленной охраной, а также наличие 91 проститутки и 154 «тунеядцев, пьяниц и других антиобщественных элементов». Наконец, в «отчете полицейского надзора» были записаны еще 227 «браконьеров». (Отрывок из: *Homosexualitat in der NS-Zeit, Fischer Taschenbuch*, mars 1993, p. 273 — 274.)

И все-таки надо упомянуть, как это и делает Ричард Плант, что, заметая следы, «нацисты в немецкой администрации старались составлять протоколы, делать записи и выносить разные приказы как можно непонятнее и дальше от истины». Например, немецкое население одно время путало схожие выражения: «концентрационлагерь» (концентрационный) и «концертлагерь» (лагерь-концерт, традиционное место, где исполняют музыку) — «путаница, позволявшая им думать, будто заключенные играют на инструментах и расслабляются». (Walter Kempowski, p. 33 et 42.)

16

После облав на гомосексуалов их количество уменьшилось. Гомосексуальные пары находились под постоянной угрозой, а их семьи помалкивали. Как отмечает Ричард Плант, в Германии «у гомосексуалов не было контактов с внешним миром: редкие семьи осмеливались признаться, что имеют сына, брата, супруга или просто родственника, интернированного за нарушение параграфа 175». (Richard Plant, *Rosa Winkel. Der Krieg der Nazis gegen die Homosexuellen*, Campus Verlag, 1991, p. 133.)

17

В качестве секретаря приемного центра в павильоне Лионской ярмарки, принимавшего высланных из Эльзаса, Эме Шпиц (также и автор книги «Struthof, bagne nazi en France» с предисловием маршала Латтре де Тассиньи, изданной в 1970 году) отметит поименную высылку 91 гомосексуала с 1 июля 1940 года до конца декабря 1940-го.

18

Документ немецких властей от 10 мая 1941 года, в котором фигурирует Пьер Зеель, заключенный в мюлузскую тюрьму. Отмечен и его перевод 13 числа текущего месяца в лагерь Ширмека. Документ был извлечен из архивов тюрьмы в Мюлузе и передан Министерством юстиции 24 декабря 1984 года Пьеру Зеелю с пометкой заместителя директора: «Результат поисков, предпринятых мною в немецких архивах этого учреждения, — один этот документ, фотокопию которого я направляю вам».

Второе письмо от 26 сентября 1988 года, подписанное директором управления исправительных тюрем Мюлуза и содержащее тот же документ, указывает также: «Упорные изыскания в наших архивах не позволили определить ни дату, ни мотив ареста» (речь идет о пребывании Пьера Зееля в мюлузской тюрьме).

19

Многочисленные документы действительно только вскользь упоминают о Ширмеке, Форбрюхе или Ширмеке-Форбрюхе. Зато соседний лагерь Штрутгоф часто упоминается под названием «лагерь Нацвиллер». Его комендант Иозеф Крамер был после освобождения лагеря приговорен к смертной казни на Нюрнбергском процессе и казнен, в отличие от коменданта лагеря Ширмека. (Christian Bernadac, *Les Medecins maudits*, ed. France Empire, 1967, p. 122.)

20

Речь Генриха Гиммлера от 18 февраля 1937 года: «Когда мы пришли к власти в 1933 году, то обнаружили объединения гомосексуалистов. В них насчитывалось около двух миллионов человек. Это означает, что гомосексуалистом был каждый седьмой или восьмой из ста. И если это не пресечь сейчас, то заразная болезнь уничтожит наш народ. [...] Если этот порок продолжит распространяться в Германии и мы не сможем его побороть — это будет конец Германии, конец немецкого мира».

21

О цыганах в соседнем лагере Штрутгофе см. статью Жака Эрана о «медицинских опытах», жертвами которых они были. (*La Revue d 'Alsace*, nov. 1990.)

22

См. об этом блестящие работы Шарля Бене «*L'Alsace dans les griffes nazies, organisations policiers nazies, prisons et camps de deportations en Alsace*», том пятый, посвященный памяти Эме Шпица, а также «De Strathof a la France libre». (Ed. Fetzer a Raon-l'Etape, Vosges, 1980.)

23

Свидетельство о розовом треугольнике австрийца Ганса Хегера: «Розовым треугольникам оставаться на месте!" Грубый окрик после вызова летним вечером в июне 1942-го. Мы долго стояли в пустом дворе [...]. Нас перевезли из Заксенхаузена на кирпичный завод Клинкера. Нас трясло, потому что это место было слишком известно. Через два месяца, показавшиеся нам годами, нас осталось всего пятьдесят человек. Помню последний приказ перед тем, как нас разделили: сложить двадцать трупов, заливших всех нас кровью [...]. Помню, как появился пока здоровый юноша с розовым треугольником. Его постоянно вызывали, издевались, избивали, оставляли на целую ночь на морозе, вели под душ, потом связанного пытали горячей лампой в сочетании с ледяным душем — он очень быстро умер». (*Gai Pied*, avril 1979, № 1, p. 1.) Свидетельство, переведенное с немецкого языка, появилось in extenso в 1981-м в издательстве Персона.

24

Как дегенераты и просто нетрудоспособные, психически больные тоже были арестованы и истреблены: около двухсот тысяч в Германии и сорок тысяч во Франции за время ее оккупации. См. на эту тему работу Макса Лаффона, изучавшего функционирование в тот период психиатрического госпиталя Винатье в Броне под Лионом и особенно больницы в Клермоне на Уазе, где практиковались инъекции, эвтаназия и плохое кормление. Кошмарные последствия этого для пациентов, проанализированные в серьезных научных работах, были представлены «Медико-психологическому обществу» (Max Laffont, *L 'Extermination douce*, ed. de l'AREFPPI, domaine de Clermont, Le Cellier, 44850 Ligne. См. также об этом: Pierre Durand, *Le train des foux*, ed. Messidor, 1988.)

Не отставали также психиатры и психотерапевты. Берлинское психоаналитическое общество, ставшее Институтом Геринга после самоуправного назначения его главой кузена маршала, поистине молниеносно приступило к работе: «Члены Института Геринга старались изо всех сил: комиссия по «излечению» от гомосексуальности и по стерилизации ее психологических корней, сотрудничество с организацией по предупреждению любого возможного мятежа рабочего класса и с Министерством войны — для разработки психологических характеристик с целью освоения уязвимых мест врага. Аналитическая запись о Франции настаивала на наследственном присутствии у французов расовых предрассудков. (Rolans Jaccard, *Le Monde*, 13 mai 1987.)

О евгенике и эвтаназии см. также досье Бенуа Массена, опубликованное в «Решерш» в декабре 1990, том 21. Что касается лоботомии, то есть удаления участков мозга, главным образом с целью изменить сексуальное поведение, ее продолжали применять в тюрьмах Франко до шестидесятых годов из-за доктора Мониша, главного врача мадридской тюрьмы. Изобретатель лоботомии в эти черные годы был ранен одним из своих пациентов. (Yves Navarre, *Un jardin d'acclimatation*, Flammarion, премия Гонкура 1980.)

25

Эме Шпиц: «В моей бригаде был молодой немец с розовым треугольником, привезенный из Дюссельдорфа, ему было двадцать семь лет. Он часто говорил мне: «Когда мы наконец будем свободны, я хочу прожить жизнь с тобой». Однажды СС его схватило, и больше я никогда его не видел. В лагерях смерти надо было все видеть, все слышать, но никогда ни о чем не говорить. Так я спас свою шкуру». (Там же, записано в июне 1980 года в Ингерсхайме.)

26

«Гомосексуалист — безнадежно больной в психическом плане человек. Он слабак и демонстрирует презренность своего существа во всех серьезных ситуациях. Гомосексуалист мыслит как совершенно больной человек и сам верит в то, что говорит. И естественно, гомосексуалист — идеальный объект для давления». (Генрих Гиммлер, речь от 18 февраля 1937 года.)

27

«Третий рейх провел уличные облавы и аресты немецких и эльзасских гомосексуалов. [...] Они были депортированы в концентрационные лагеря. Есть сведения о трехстах пятидесяти тысячах депортированных гомосексуалов. Мало кому из них удалось уцелеть. Эти жертвы останутся неупомянутыми в официальной истории». (Encyclopedie Hachette, 1990.)

28

О положении гомосексуалов в Бухенвальде, в блоке 36, выдержки из свидетельства Ярослава Бартла: «Мы работали в каменном карьере в невыносимых условиях, под постоянной угрозой расстрела эсэсовцами, под окрики и избиения бригадиров. Несчастные случаи и смертельные ранения случались еженевно; и дня не проходило, чтобы хотя бы один заключенный не был убит. Почти каждое утро [...] капо получал от СС листок с количеством заключенных, которые не должны были вернуться. [...] Одним из излюбленных развлечений бригадиров было избивать заключенных, когда они тащили вагонетки. За полчаса мы должны были поднять их на высоту пятьсот метров и потом отпустить вниз, обязательно придерживая, так как их вес сообщал им значительное ускорение. Если одна тележка съезжала с рельсов, то следующая давила заключенных, что приводило к тяжелым увечьям. Часто в медсанчасть привозили заключенного с раздробленной ногой. Однажды его там просто уморили: врач СС ввел ему смертельный укол». (Архив Бухенвальда. Цит. по: *Homosexuelle Haftlinge im Konzentrationlager Buchenwald*, Nationale Mahn und Gedenkstatte Buchenwald, 1987.)

Еще свидетельство о положении гомосексуалов в Бухенвальде, взятое из архивов лагеря: «Х. Д., коммерческий служащий, родился в 1915, был арестован 20 марта 1938, когда нелегально появился в Праге [...]. Тогда же арестовали и его интимного друга, из которого выбили признание. Он был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы как «опасный для нравственности». После того как он отбыл наказание, его отправили в ноябре 1940-го в Бухенвальд... Первым, что его потрясло по прибытии туда, были трупы заключенных штрафной роты, которые бросали к воротам, как мешки с зерном. Боле того, в тот же самый вечер повесился молодой гомосексуал, и все спокойно продолжали есть, не обращая на это никакого внимания [...]. 4 января 1942 года его отправили в медицинскую лабораторию, где испытали на нем лекарство от лихорадки, — там молодых гомосексуалов охотнее всего использовали в качестве подопытных кроликов. Х. Д. победил болезнь, хотя позже мучился от сердечных приступов [...] Между тем новых прибывших гомосексуалов, арестованных по статье 175, быстро расстреляли в бункере».

29

Свидетельства о «медицинских экспериментах» многочисленны, особенно в Германии, и говорят о том, что гомосексуалов не щадили. Эжен Когон: «Опыты производились посредством инъекций медикаментов; если речь шла об операциях на гомосексуалистах, тут было много разных вариантов. Было много случаев пересадки синтетических гланд. Я был свидетелем смерти двоих из тех, на ком производились эти опыты». Свидетельство, представленное во время изучения «опытов» доктора Вернета, от 7 января 1947 года. (Цит. по: *Bent*, Ed. Persona, p. 152).

Процитируем еще Ги Хокенхейма: «Каторжный труд, медицинские опыты, особенно испытание живых тканей ожогами для проверки действия фосфорных бомб истребляли ряды гомосексуалов. Согласно дисциплине лагерей третьего типа, они не имели права заболеть: их перемещение в лагерный госпиталь было запрещено. Заболеть означало подписать себе смертный приговор». (Op. cit., p. 140.)

«В 1943 году Гиммлер принял решение просто-напросто кастрировать гомосексуалистов, ибо они упрямо отказывались измениться так, как от них требовалось [...]. Было обещано, что каждый гомосексуалист, которого кастрируют с его согласия, будет быстро освобожден за хорошее поведение [...]. Но когда таких выпускали из лагерей, то не давали вернуться домой, а отправляли на фронт». (Jean Boisson, p. 177—178.)

На Нюрнбергском процессе 1947 года главный врач Геббарт пытался оправдываться так: «Гиммлер был человеком, который мог одним росчерком пера отправить на казнь тысячи людей [...]. Он сказал мне, что опыты проводились в соответствии со специальными планами фюрера, а желание фюрера считалось государственным приказом. Я был связан клятвой верности СС». Цитируется по книге Жана Буассона, коорый добавляет: «Но уж конечно, никак не клятвой Гиппократа».

30

Тони Лене: «Большие потрясения в истории имеют сходную судьбу с теми, какие бывают в жизни человека. Их скрывают, заделывают бреши, но хотя память их отодвигает, они продолжают оставаться, вместе с эмоциональной травмой целостности, которой сопровождались». (Предисловие к работе: George Eisen, *Les enfants pendant holocauste*, Calmann-Levy,1993, p. 10.)

31

«В 1944 году я находился в Данциге. Там была судостроительная верфь. Женщин, привезенных из Штрутгофа, заставляли маршировать, построив по трое. За ними надзирали сто или сто пятьдесят женщин, одетых в черную форму СС; они носили сапоги и держали в руках хлыст, чтобы подгонять этих несчастных». (Свидетельство из работы: Walter Kempowski, p. 154.)

32

Вот пример издевательств над депортированными геями в Германии, принадлежащий циничному перу Рудольфа Хоша, начальника лагеря: «В Заксенхаузене гомосексуалистов сразу поместили в один барак. Работать их выгоняли отдельно от других в глиняный карьер. [...] Эта тяжелая работа, целью которой было их перевоспитание, по-разному влияла на различные категории гомосексуалистов. Если те, кто обладал живым характером и твердо решил отказаться от прежнего, оказывались способны к самому тяжелому труду, то другие медленно чахли. [...] Нетрудно было предсказать фатальный исход в том случае, когда болезнь или смерть отнимали у одного из таких его «дружка». Многие из них покончили с собой. [...] Были случаи, когда двое дружков вместе убивали себя». (*Le Commandant d'Auschwitz parle*, Maspero.)

Историк Франсуа Бедарида также отмечает: «В концлагерях цыгане и гомосексуалисты находились на дне лагерной иерархии. Их использовали на самых тяжелых работах. Так, например, одну цыганку, семья которой погибла в газовых камерах, использовали как «носильщицу трупов». Вместе с другими заключенными она должна была подбирать умирающих и относить их в могилу, где они часто еще агонизировали. Их добивали выстрелом в затылок». (*Politique nazie d'extermination*, Institut d'histoire du temps present, Albin Michel, p. 274.)

33

Знаменитый психиатр из Чикаго Бруно Беттельхайм, которого отправили перед Второй мировой войной сперва в Дахау, а потом в Бухенвальд, писал: «Выживали не те, у кого уважение к себе становилось меньше, а те, кто утрачивал его совершенно». (Bruno Bettelheim, *Le C ur conscient*.) «Но все-таки существует факт из истории концлагерей, что люди, имевшие религиозные или моральные убеждения, выживали гораздо чаще, чем остальные». (Выдержки из работы Сильвии Граффард и Лео Тристана «Les Bibelforschers et le nazisme» (ed. Tiresias, 1990) о депортации тысяч Свидетелей Иеговы Третьим рейхом.)

34

«Придавая такое важное значение вербовке молодежи, нацистский режим и не подумал предпринять какие-либо действия, чтобы самому отмыться от подозрений в гомосексуальности, которые постоянно высказывали коммунисты и западные демократы. И между прочим, напрасно: чем больше ярился нацизм, отправляя толпами гомосексуалов на уничтожение, тем больше подтверждал это обвинение, позорное и несмываемое, увлекая вместе с собой тысячи своих жертв в осуждение историей». (Guy Hocquenghem, *Race d'Ep*, ed. Libre-Hallier, 1979, p. 122.)

35

«9 августа 1942 года, во время заседания генерального штаба Гитлера на Украине, было принято решение ввести обязательную военную службу в Эльзасе-Лотарингии, который демонстрировал слишком мало рвения в ответ на призывы к записи в добровольцы». (Rita Thalmann, p. 63.) Так Гитлер мстил эльзасской молодежи, которую ему не удалось покорить. «Эльзасцы, силой призванные на службу вермахту, сражались против своих же братьев. От них этого и добивались — антиэльзасского расизма. Орадур-сюр-Глан. Там было много эльзасцев, служивших в армии не по своей воле. Некоторые бежали из немецкой армии, но репрессии обрушивались на их семьи. Бежать боялись. Зачем было убивать друг друга? Зачем было истреблять людей? Лицом к лицу столкнулись под деревом у излучины дороги эльзасец и немец, один на один, в дни освобождения деревушки под Кольмаром. Они смотрели друг другу в глаза. Ни тот ни другой так и не смог выстрелить». (Cyril Collard*, L 'Ange sauvage, carnets*, p. 105—106, Flammarion, 1993.)

Рассказан эпизод из действительно ужасной истории Орадур-сюр-Глан, происшедшей во время разгрома немцев, когда население этой маленькой деревушки было вырезано прямо в деревенской церкви, а ведь всех обвиняемых насильно забирали в немецкую армию. В Эльзасе это было воспринято как приговор всем, кто служил «по не зависящим от них причинам». Поначалу люди, призванные немецким военкоматом, пели «Марсельезу». (Jean Ritter, p. 66.) Из ста тысяч призванных силой выжили меньше половины. А осужденные эльзасцы из Орадур-сюр-Глан в конце концов удостоились президентского прощения.

36

Документ из секретариата по делам бывших депортированных и жертв войны от 11 февраля 1992 года подтверждает, что Пьер Зеель получил статус «человека, вынужденно работавшего во вражеской стране, на территории, оккупированной врагом, или на французской территории, оккупированной врагом» в период с 21 марта 1942 года по 26 сентября 1942 года, потом насильственно был призван в немецкую армию с 15 октября 1942 по 7 августа 1945 года. За перенесенные страдания и опасности Пьер Зеель недавно был вознагражден чеком в 9100 франков...

37

После убийства Рема и слухов о том, что в СА есть гомосексуализм, Гитлер повысил голос: «Мы без колебаний будем истреблять эту чуму до победного конца, даже в наших рядах». (Гитлер, речь от 11 сентября 1936 года.)

38

«Сколько бы администрация ни прославляла основную задачу вербовки новых рекрутов, сколько бы праздников в честь записавшихся ни устраивала, все-таки мало было тех, кто по собственной воле надевал униформу. Одни пытались избежать этого, ссылаясь на психическую неполноценность или туберкулез, бежали в Швейцарию или во французскую глубинку, другие разбрасывали враждебные листовки или протестовали прямо во время призыва. В некоторых местностях призывники приходили в казармы пьяные и распевали сатирические песни или даже «Марсельезу», размахивая при этом триколором». (Rita Thalmann, p. 63.)

39

Рудольф Хош, комендант Заксенхаузена и впоследствии Освенцима, писал в своих мемуарах: «Гомосексуалисты должны были работать днем и ночью; выпускали кого-то крайне редко». Жан Дане, ссылаясь на Мишеля Фуко, пишет, что «этот концлагерь был похож одновременно на больницу и птичий двор.

Садистские эксперименты или замаскированное истребление, восприятие гомосексуализма как медицинского феномена выражались здесь с самой ужасающей иронией. Ибо от теории гомосексуализма Хиршфельда до гитлеровской евгеники через «социальную опасность», какой считала гомосексуализм советская идеология, тянется одна и та же кровавая нить». (Guy Hocquenghem, p. 141.)

Писатель Кристофер Айшервуд в те черные годы был в Берлине: «Всенародно на площади Опера сожгли книги и документы Хиршфельда, какие смогли найти, вместе с его бюстом. Стоявший в толпе Кристофер сказал: «Это позор!», но вполголоса». (Книга «Cristopher et son monde», POL-Hachette, вдохновила создателей фильма «Кабаре».)

После двадцати лет экстремистской деятельности Магнус Хиршфельд, еврей и гомосексуалист, обратился в 1930 году с петицией от имени шести тысяч человек, подписанной Лу Андреас Саломе, возлюбленной Рильке, и тремя уже знаменитыми лауреатами Нобелевской премии: Альбертом Эйнштейном, Германом Гессе и Томасом Манном. Речь шла о том, чтобы упразднить в немецком уголовном кодексе статью 175, унаследованную от прусского законодательства, в течение шестидесяти лет определявшую гомосексуализм как правонарушение, покушающееся на общественный порядок. Во времена нацистов это правонарушение стало считаться тяжелым преступлением. Карой за него было от десяти лет каторжных работ до пожизненного заключения в психушку. Вермахт, при обнаружении гомосексуализма в своих рядах, боролся с ним — особенно после «Ночи длинных ножей», — применяя оружие на поражение.

Магнус Хиршфельд умер от остановки сердца 15 мая 1935 года в Ницце. Там и был похоронен, на кладбище, расположенном над морем, недалеко от Верди. В 1920 году он подвергся первым физическим насилиям. В 1923-м в Вене во время дебатов на него напали. Потом он лишился немецкого гражданства. Планировал открыть в Ницце свой институт.

А статья 175 дожила до 1979 года.

40

Ночные заведения, бары, кабачки и скверы зачищали специальные отряды национальной безопасности. Потом возникали объемистые полицейские и судебные досье. Доносы были выгоднее всего — они и процветали. Достаточно было одного подозрения. Обильный урожай собирали чувство личной мести и создание особых досье, где фигурировали более или менее высокопоставленные персоны. Так, по ложному доносу гомосексуалиста-проститутки, была разгромлена штаб-квартира генерала Фитча, который мужественно отрицал возведенный на него «поклеп». Тем не менее, его разжаловали, а проститутку просто расстреляли.

41

«Меня полиции заложил друг, которого пытали так, что он раскрыл имена и адреса всех гомосексуалов, которых знал. Осенним днем 1934 года — консьержка предупредила меня внизу — в моей гостиной ждал полицейский, который и препроводил меня в генеральный штаб гестапо. Это было после убийства Рема, и нацисты предприняли охоту на гомосексуалов, направив десант в злачные местечки, где арестовывали всех подряд. Я был известным актером. Меня много раз возили из тюрьмы в Колумбия-Дамм в гестапо для допросов. Потом поместили в тюрьму Лихтенбург, где, как мне показалось, содержали только гомосексуалов. Меня спасло только вмешательство Хайнца Гильперта, директора Немецкого театра в Берлине, который просил Гиммлера освободить меня, отрицая мою гомосексуальную ориентацию, хотя знал, что это не так». (Frank Rector, *The nazi extermination of homosexuals*. Stein and Day, Scarborough House, Briarcliff Manor, New York 10510, появилось в ежемесячном журнале для геев в Монреале «La Berdache», sept. 1981.)

42

См. об этом: Marc Hillel, *Au nom de la race*, Fayard, 1975.

43

«Возьмите тысячу молодых девушек. Заставьте их совокупиться с сотней молодых немцев. Устроив сотню лагерей с такими порядками, вы одновременно получите целое поколение из ста тысяч детей с чистой кровью». (Доктор Вильбард Хентшель в «Дер Хаммер», дневнике национал-социалистской пропаганды, Берлин, том 640, с. 17.) Лагеря «Лебенсборн», как и концлагеря, и «окончательное решение вопроса», являются изобретением того же Генриха Гиммлера, покончившего с собой в 1945 году во время краха Германии. Он же заявлял: «Живущие гомосексуальной жизнью отнимают у Германии детей, которых они ей должны». (Речь от 26 января 1938 года.) Его преследует одна навязчивая идея — чистота крови и бурное воспроизводство расы: «У меня есть замысел разыскать немецкую кровь по всему миру. Мы возьмем все, что хорошей крови [...]. Мы украдем даже их детей и воспитаем у нас». (Речь от 8 ноября 1938 года и 4 октября 1943 года. Цит. по: Jean Boisson, op. cit.)

44

Сто тысяч белокурых польских детей, по подсчетам правительства этой страны, были вывезены нацистами, пишет «Жиче Варшавы» от 11 июня 1948 года. А японская армия во время Второй мировой войны хотя и не заставляла вывезенных женщин рожать насильно, но принудила к занятиям проституцией для своих солдат пятнадцать тысяч «гейш» из Северной Кореи. Совсем недавно Сеул решил возместить им ущерб. А японское правительство, свою ответственность все-таки признавшее, тем не менее отказывается взять на официальный учет сто двадцать одну выжившую. (*Le Monde*, 2 sept. 1993.)

45

См. об этом: Michel Tournier, *Le Roi des Aulnes*, Gallimard, 1970.

Здесь идет речь о газетных разворотах на черном фоне с нашумевшими фотографиями детей пяти лет и больше, подписанными так: «Кто может сказать нам кто мы, откуда приехали, когда родились? Мы будем благодарны вам за любую, самую незначительную информацию, касающуюся нашего прошлого.

Спасибо; писать в немецкий Красный Крест». Широко известный пример: «Поиск под номером 05170. Неизвестный. Есть основания думать, что его имя Ян Роминski, родился в 1941 году в Страсбурге в Восточной Пруссии. Ян ищет маму и других членов семьи. Его мать, предположительно Ирена Роминска, в 1942 году жила в доме 5 по улице Лидзабарска в Бродninке».

47

Листовка, сброшенная на Берлин авиацией союзников между двумя бомбардировками столицы рейха: «Террор. Террор был оружием Гитлера, когда он подчинил народ Германии и заставил немецкую республику служить своей партии. Террор применял Гитлер в Австрии, Чехословакии, Польше, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции, Югославии и Греции. Террор против гражданского населения. Осенью 1940-го — против маленьких городков Великобритании, чтобы поставить ее на колени. Сейчас Гитлер использует то же оружие против России. Но Гитлер просчитался. Война в России продолжается, и Великобритания сейчас гораздо сильнее, чем год назад. А их союзница — Америка. И сейчас мы начинаем отвечать на вызов Гитлера. Бомб станет все больше и больше. То, что вы пережили этой ночью, только первые капли, предвещающие близкую грозу. Бомбы дождем прольются на Германию. Таков наш ответ Гитлеру. Если вам это по душе, если вы хотели такой потоп, благодарите за него Гитлера. Это ему вы обязаны хаосом. Все ваши союзники, даже Венгрия, Румыния, Словакия, уже начали подсчитывать жертвы.

Но вы — вы не имеете права знать правду».

48

Эжен Когон, арестованный в 1938-м и хорошо знавший быт Бухенвальда, где провел семь лет, прежде чем 16 апреля 1945 года его освободили американцы, писал: «В высшей степени трудно, даже невозможно, избежать коллективной ответственности в условиях современных диктатур, если никакое коллективное или индивидуальное сопротивление не поднялось против этой диктатуры тогда, когда это было необходимо, с самого ее возникновения». (Walter Kempowski, p. 208.)

49

«Когда в 1945 году немецкие концентрационные лагеря открылись, по Европе и всему миру пробежала волна ужаса [...]. Но среди категорий жертв была одна, не стонавшая о множестве потерь и страданий, не встречавшая понимания ни в газетах, ни у властей, ни у организаций по защите прав интернированных: это гомосексуалы [...]. Они не вызывали никакого сочувствия у широких масс и, естественно, не могли рассчитывать на какое бы то ни было возмещение ущерба [...]. В лагерях их часто подвергали наиболее тяжелым издевательствам. Я сам видел молодого человека весьма женственной наружности, которого СС заставило перед ними сплясать; потом его повесили». (Анонимное свидетельство из «Rapport contre normalite», ed. Champ Libre, 1971, p. 112.)

50

«Главным препятствием после Освобождения был, без сомнения, отказ всех властей принимать в расчет депортацию гомосексуалов. И еще страх, сопутствующий чувству вины и очень часто толкающий жертв к сокрытию истинной причины их депортации, если речь шла о гомосексуализме. Ведь такое признание до шестидесятых годов, скорее всего, закончилось бы новым уголовным преследованием».

(Guy Hocquenghem, p. 137.)

51

«Эльзас был окончательно освобожден только в марте 1945-го. Страсбург был отвоеван в ходе ожесточенных боев неожиданной атакой американских войск, брошенных для остановки немецкого наступления в Арденнах». (Jean Ritter, op. cit., p. 66.)

52

«Особенно шокировало меня понимание того, что после возвращения из лагерей меня воспринимали как преступника, и более того, преступника самого худшего толка: педераста. Я никогда не добивался возмещения. Нам, педерастам, его не полагалось, хотя нас отправили в концлагеря без судебной санкции на арест. Это насилие над правом, недостойное поведение конституционного государства — без всяких доказательств оторвать человека от его работы, семьи и друзей, бросить в тюрьму, лишить всех прав, не позволить ему быть услышанным и получить защиту». (*Bent*, p. 146.)

53

«Понятно, что те, кому повезло избежать добровольного безумия или убийства нацистами, после того как вновь обрели свободу, остались душевно истерзанными, так что эта свобода уже не могла быть такой, как прежде, ведь отныне они становились пленниками собственных мучений». (Jean Boisson, p. 200.)

54

Во время последнего интервью Жан-Поля Сартра 23 февраля 1980 года ему задали вопрос о том, почему интеллектуалы молчат о продолжающейся десятилетиями депортации гомосексуалистов: «Почему в ваших политических работах нет ни слова об истреблении гомосексуалистов Сталиным и Гитлером?» — «Потому, что я не знал о таких расправах, были ли они систематическими и сколько людей пало их жертвой. Я не был в этом уверен. Историки говорят об этом очень мало. Я могу обвинить этих диктаторов в тысяче злодеяний, но не в этом, поскольку о нем я не знаю». (Gilles Barbedette, Claude Lochu, Jean Le Bitoux, *Gai Pied*, mars 1980.)

55

«Сам адмирал Дарлан, второе лицо в государстве, взваливший на себя, помимо обязанностей главы правительства, еще и временное исполнение обязанностей в Министерстве иностранных дел, Морском, Информации и Госсекретариате внутренних дел [...] потребовал у префектов, начиная с марта 1941 года, составлять «картотеку» французов, не поддающихся «национальному перевоспитанию», особенно состоящих в запрещенных партиях и ассоциациях, функционеров и агентов общественных объединений, простых работников и начальства». (Rita Thalmann, p. 259.)

После возвращения Лаваля адмирал Дарлан слетел со всех постов. Поэтому его официальный статус «преемника» маршала Петена был весьма сомнительным. Это не помешало ему 14 апреля 1942 года направить правительству следующую ноту: «Мое внимание привлекло важное дело о гомосексуалистах, в которое были замешаны моряки и гражданские лица [...]. Все репрессивные меры, какие я сегодня могу применить, это дисциплинарные взыскания в среде моряков. Нынешнее законодательство не позволяет никоим образом преследовать за это гражданских лиц [...]. Безнаказаность, которой они пользуются, лишь усиливает безобразия. Поэтому обращаюсь к министру юстиции, считая время для этого вполне уместным, с просьбой рассмотреть процедуру и текст закона, разрешавшего бы преследовать также и гражданских лиц».

Возможность наказания гомосексуальных действий людей моложе двадцати одного года, при том что гетеросексуальная зрелость считалась с тринадцати лет, была введена впервые с 1792 года после кодекса Наполеона, прекратившего уголовное преследование «содомитов». Через три недели, 8 мая 1942 года, проект этого закона уже лежал на столе главы государства. А еще через три месяца закон под номером 744, подписанный маршалом Франции и главой Французского государства Петеном, канцлером и министром юстиции Пьером Лавалем, государственным министром юстиции Жозефом Бартельми и государственным секретарем Абелем Боннаром 6 августа 1942 года, 27-го был опубликован в «Журналь оффисьель».

Дарлан был по спорным и до конца не выясненным причинам убит в летнем дворце в Алжире молодым человеком двадцати лет в рождественскую ночь 1942 года. (См. об этом: Alexis Wassilieff, *Un pavillon sans tache*, Grasset, 1986; *Le Figaro*, 24 decembre 1986.)

Вот что писал Мишель Турнье: «Этот закон был принят

правительством Виши под немецким влиянием, как и принятые в то же время антисемитские законы. Для нацистов евреи и гомосексуалисты ничем не отличались. После Освобождения французская правовая система не придумала бы ничего иного, как сохранить и тот и другой законы. Но присутствие американской армии делало сохранение антисемитских законов невозможным. Их пришлось отменить [...]. Нацизм главным образом и определяется ненавистью к евреям и гомосексуалистам. Я знаю эту тему, поскольку изучал ее во время работы над «Лесным царем». Я прочел тонны документов как принадлежащих перу самих нацистов, так и на тему нацизма [...]. Кстати, так много говорят о еврейском холокосте, но никогда о холокосте гомосексуалов. Достойно интереса такое вымарывание части жертв концлагерей. Ведь за гомосексуализм было уничтожено восемьсот тысяч человек». (Michel Tournier, *Gai Pied*, № 23, fevrier 1981.)

Эта часть закона пережила и чистку уголовного кодекса от антисемитского и коллаборационистского шлака при правительстве де Голля после Освобождения. Она стала артикулом 3 статьи 331 и предусматривала наказание от шести месяцев до трех лет тюрьмы. Во время его президентства оно было даже ужесточено в 1962 году тюремным наказанием и двойным размером штрафа по сравнению с аналогичным преступлением гетеросексуального характера. Гомосексуализм получил название «социального бедствия» наравне с туберкулезом и алкоголизмом.

Пришлось подождать, пока под давлением прессы и ассоциаций Франсуа Миттеран наконец заявил: «Гомосексуальность должна перестать считаться преступлением». Принятая Дарланом через посредство Петена, эта статья была отменена только 4 августа 1982 года парламентом и сенатом по запросу Робера Бадинера, министра юстиции, во время первого семилетнего срока Франсуа Миттерана, заявившего с трибуны сената: «Франция обязана перестать игнорировать все, что она должна гомосексуалам».

56

Жан-Луи Бори, получивший Гонкуровскую премию во время Освобождения, 8 декабря 1945 года, за произведение «Моя деревня в немецкие времена», позже напишет: «Пройдя через репрессивные социальные поля, по стольким минным полям, гомосексуализм, познавая себя и принимая себя таким, каков он есть, вынужден был маневрировать, чтобы при этом жить своей обычной жизнью. Только осознав эти препятствия, преодолев их и отринув, можно представить себе границы того мира, который социологи немного напыщенно называют гомосексуальной вселенной». (Jean-Louix Bory, p. 88.)

57

«Высшая форма угнетения — это самоугнетение. Оно достигает цели, когда гомосексуал принимает и руководствуется концепциями добра и зла, полученными им от гетеросексуалов, и при том соглашается всю жизнь помалкивать». (Манифест гомосексуалов Лондона, 1975.)

58

Ги Хокенхейм: «Тридцать лет спустя Хегер перестал молчать. Он наконец осмелился рассказать о своем аресте — аресте молодого венского студента, о месяцах в тюрьме, о депортации в Заксенхаузен и потом в Флоссенбург. Его свидетельство подтверждает данные о сотнях тысяч жертв нацистского режима, попавших под запрет по параграфу 175. [...] Это отнюдь не повесть о герое, это антидневник Анны Франк, вывернутая наизнанку легенда о лагерях, открывающая для нас замалчиваемый холокост, истреблявший депортированных гомосексуалов, которым теперь отказывают в репарациях. Вот, очевидно, что означает сегодня быть гомосексуалом, знать, с каким геноцидом это было связано, и не иметь никаких надежд на возмещение ущеба». (Hans Heger, *Les Hommes au triangle rose*, 1981.)

Основанная на этой истории из жизни гомосексуалов в концлагере, написанная британским писателем Мартином Шерманном пьеса «Бент» была поставлена в Королевском Лондонском театре. («Со сцены, иудей и педераст, о горестях, невиданных на свете, счел долгом рассказать я без прикрас — их пережили два меньшинства эти».) Потом ее сыграли на Бродвее с Ричардом Гиром в главной роли, потом показывали в Театр де Пари 21 сентября 1981 года в постановке Петера Шателя и с Бруно Кремером в главной роли. («Одна из причин появления этой пьесы — рассказать публике нечто до сих пор остававшееся сокрытым. Здесь розовые треугольники как будто заслонили собой образ самих лагерей. В определенном смысле такие преследования продолжаются, они силятся захватить все общество, и вот здесь-то видна вся их злокачественность».) Проект экранизации пьесы Коста-Гаврасом с Ричардом Гиром в главной роли не состоялся. (Bent.)

59

Жан-Пьер Жоэкер: «Иногда трудно снова переживать воспоминания, особенно если для этого приходится погружаться в ужас лагерей, когда самая интимная часть жизни была разбита абсурдной нетерпимостью оттого только, что ты иной, чем они, и полицейским произволом. Это встреча с человеком пяидесяти восьми лет, в душе у которого сталкиваются прошлое и настоящее, события перемешались и многие забылись, и трудно развеять пережитое страдание. Возвращение в прошлое — тема деликатная, иногда это как первые шаги ребенка. И сорок лет спустя все те же угрозы, кошмарные, непрестанные, и всеобщее забвение, из-за которого приходится свидетельствовать анонимно [...]. Возвращение в Эльзас, очень трудное, без общения с людьми, многие месяцы без близких отношений, а потом женитьба, отъезд из родных мест и постоянные жестокие воспоминания о лагере, незаконном аресте, непрерывной несправедливости, при том что даже в наше время во Франции ему нечего и рассчитывать на какие-либо возмещения депортированным гомосексуалам». (Предисловие к анонимному интервью Пьера Зееля, июль 1981, Bent, p. 138.)

60

Доминик Фернандес: «Произнесенные частным ли образом или публично, эти высказывания несут в себе зло и им необходимо давать отпор, с ними должно бороться в любых обстоятельствах. Моральный авторитет, сопутствующий словам епископа, только усиливает тяжесть причиненного ими зла. [...] Я уже много лет борюсь с такими высказываниями, с этой позицией, вызывающей чувство стыда, безнадежности и боли. И то, что я пишу, и есть эта борьба». (*Gai Pied*, 11 decembre 1982.) Высказывания этого прелата произвели просто шокирующее впечатление, потому что он все-таки подчинен определенным правилам сдержанности высказываний. Действительно: «Французское государство сегодня еще сохраняет, хотя и практически прекратило им пользоваться, право контроля над назначением министров по делам религии, которым платит жалованье, и оно же назначает и епископа Страсбургского, который, с другой стороны, получает каноническое подтверждение от папы». (Jean Ritter, p. 59.)

61

Открытое письмо Пьера Зееля монсеньеру Эльшингеру: «Я решился самым активным образом поддержать всех многочисленных мужчин и женщин, которые чувствуют себя оскорбленными вашим заявлением от 8 апреля 1982 года. Жертва нацизма, я публично и с гневом утверждаю, что такие высказывания покрывают и оправдывают уничтожение миллионов больных людей по причинам политического, религиозного, расового или же сексуального характера.

Я не калека и не страдаю никакой болезнью. Я не хочу возвращаться ни в какие медсанчасти, где мой гомосексуализм пытались бы вылечить, и уж точно не в то место, что совсем недалеко от эльзасской столицы. Это было в 1941 году. Я был восемнадцатилетним мальчишкой. Арестованным, подвергнутым пыткам, избитым, брошенным в тюрьму, высланным вне всякого юридического заключения, без какой бы то ни было защиты, без суда и приговора.

Сегодня вечером я слишком устал, чтобы перечислять вам все моральные и физические пытки, все нелыханные и невиданные страдания, которые мне пришлось перенести. С тех пор вся моя жизнь проходит в ужасной тоске, которую разделяет и семья после моего бессудного ареста.

Ваше заявление от 8 апреля 1982 года пробудило во мне тысячи жестоких воспоминаний, и в свои пятьдесят девять лет я решил положить конец моей анонимности. Всю жизнь до этого самого вечера я не знал, что такое ненависть к кому бы то ни было. Но сейчас, в крайнем смятении от такой явной, дожившей до наших дней гомофобии, я просто дрожу, думая обо всех исчезнувших гомосексуалах и всех тех представителях других меньшинств, которых пытали и, увы, замучили до смерти». (Датированное 18 ноября 1982, открытое письмо опубликовано 11 декабря 1982 года в «Gai Pied Hebdo», № 47. Jean Boisson, p. 214.)

62

Владимир Янкелевич: «Антисемитизм обращается к чувству неуловимой непохожести другого: он потроен на тревоге, что нееврей испытает перед другим, почти неотличимым от него самого, неловкость столкновения подобного лицом к лицу с почти подобным. Эта отдаляющая близость, которую представляет для нас тот, кто не есть «ни совершенно такой же», «ни совершенно другой», и есть самый опасный участок пограничной зоны, подобие зоны напряженной любовной страсти; как раз в этой зоне и сосуществуют братские народы и заклятые враги. Еврей — брат-враг. Вот откуда амбивалентная природа чувств, которые он вызывает: еврей отличается, но совсем чуть-чуть, и за это недоразумение с него требуют вдвойне». (Цит. по: Gerard Bach Ignasse, *Homosexualite: la reconnaissance?,* ed. Espace Nuit, 1988, p. 60, где указывется на сходство этих размышлений с социальным статусом гомосексуалов.)

63

Письмо монсеньера Эльшингера Пьеру Зеелю от 22 февраля 1992 года: «Мсье Пьер Зеель, после переезда на другую квартиру, во время коего все мои вещи были разбросаны, я наконец нашел ваше письмо от 16 апреля 1991 года. Простите великодушно, что подтверждаю получение письма с таким опозданием. Посылаю вам документы, которые могли бы пригодиться. Всем сердцем священника я сочувствую страшным страданиям, выпавшим на вашу долю. Весьма сожалею, что после ложной информации (исправленной Кассационным судом в октябре 1984 года) вы могли подумать, будто я презираю гомосексуалистов. В прошлом многие гомосексуалисты благодарили меня за братскую помощь, каковую я оказывал им. Я хотел бы, чтобы ваша моральная и материальная ситуация со временем поправилась. Будучи стариком пенсионером, я лишен административных связей, которые могли бы помочь вам. Я с пониманием отношусь к вашим страданиям и разочарованию в Том, Кто понимает самые глубокие мысли наши, уважает в нас душу и любит нас. Леон Артюр Эльшингер».

64

12 октября 1990 года Пьер Зеель свидетельствовал еще и в передаче «Марш века» Жана-Мари Кавада вместе с монсеньером Гайо, Жаном Буассоном, Роже Стефаном, Женевьевой Пастр, Домиником Фернандесом и Михаэлем Поллаком. Осенью 1990-го Пьер Зеель был приглашен на коллоквиум о депортации в Маконе, где получил возможность выступить перед многими бывшими узниками и бойцами Сопротивления, среди которых были супруги Обрак, писательница Сабина Зейтун, автор книги «Ces enfants qu'il fallait sauver» (Albin Michel, 1989). На коллоквиуме «Сопротивление и память» в Лионе, во время открытия Музея сопротивления и депортации, Пьер Зеель с помощью Ивана Леваи получил возможность напомнить о забытой депортации геев и написал в книге отзывов музея: «Депортированным гомосексуалам. А еще — Шарлю и Роже Вандем, моим юным кузенам, расстрелянным нацистами в Лионе».

Пьер Зеель, рассказывающий об этом уже более десяти лет, получает множество писем, например триста писем ему было передано два дня спустя после посвященной ему передачи Даниэля Мерме «Так давно, что я как будто не был там» от 14 апреля 1993 года.

Также Пьер Зеель во время поездки с членами ассоциации «Франция-СССР» в ноябре 1987 года сделал запись в книге почетных гостей Кремля: «Пьер Зеель, депортированный гомосексуалист, арестованный и подвергавшийся пыткам со стороны нацистов. Выражаю благодарность Советской армии и русскому народу». При этом нельзя забывать, что начиная с 1933 года, за несколько недель до Гитлера, Сталин репрессировал гомосексуалов за «буржуазное декадентство», издав указ, который лишь недавно, в 1993 году, был отменен по инициативе Бориса Ельцина.

«Так и неизвестно точное число гомосексуалов, сгинувших в гитлеровских концлагерях. Мы точно знаем только статистику судов в Германии, но не было никакого учета массовых казней, прямых расправ, учиненных во всех европейских странах, и бессудных высылок гомосексуалов прямо в лагеря, в том числе в самой Германии. Более того, архивы этих лагерей часто уничтожались во время наступления союзных войск». (Guy Hocquenghem, p. 137.)

67

Пьер Видаль-Наке: «Я считаю совершенно законным то, что гомосексуалы стараются напомнить о депортации, жертвами которой они стали. Одна из самых трудных задач для всех, кто выжил, — добиться, чтобы исторические данные об этом были объективными. [...] Правда и то, что в лагерях именно гомосексуалы были самой презираемой социальной группой». Андре Глуксманн: «[...] Если ненависть между различными категориями заключенных еще существует в наши дни, она является наследием тех тоталитарных порядков, которые были в концлагерях». (*Gai Pied*, 11 mai 1985.)

«Как почетный президент Национального союза депортированных я с готовностью уточняю, что эта решетка была установлена по нашему ходатайству», — писал преподобный отец Рике в «Le Figaro» 14 марта 1976 года.

69

Муниципалитет Ла-Э установил памятник, символизирующий борьбу против угнетения и преследования гомосексуалов. Монумент в виде голубой ленты у основания и розовой у вершины вздымается кольцами в небо на семь метров в высоту. Ла-Э — второй город в Нидерландах, установивший у себя монумент в честь геев. В Амстердаме треугольный подиум в честь гомосексуалов в виде мраморного треугольника был установлен еще в 1987 году.

70

«Перечитывая свою рукопись, когда уже слишком поздно было вносить изменения перед публикацией, я убедился, что забыл одну группу подвергавшихся преследованиям: гомосексуалов». (Mull Harrid, *Science nazie, science de mort, I 'extermination des juifs, des Tsigans et des malades mentaux*, ed. Odile Jacob, 1989.) О такой постоянной забывчивости см. также: Michel Cressole, *Liberation*, 25 avril 1993.

71

Германия подождет до 1988 года, чтобы признать депортацию единственного немецкого гомосексуала. Потом, по инициативе «зеленых» и Социалистической партии Германии, парламентарии согласятся утвердить границы возможного возмещения ущерба для «последних» жертв нацизма, включая гомосексуалов, цыган, подвергшихся насильственной стерилизации, и потомков жертв эвтаназии. (*Gai Infos*, aout 1989; *Gai Pied Hebdo*, 16 mai 1987).

72

Письмо из Министерства по делам ветеранов и жертв войны, датированное 28 июня 1993 года и полученное 2 июля, было отправлено из Каэна и подписано Ксавье Руби из Управления социальных уставов, выплат и реадаптации, субуправления социальных уставов и званий, дело вела мадам С. Папарамборд, номер справки 93.45.65.

Мадам С. Папарамборд писала еще ранее, 5 мая 1993 года, сообщая, что из-за нехватки времени комиссия не смогла изучить досье во время национального собрания 27 апреля 1993 года. Затем мсье Жак Коэффе, начальник отдела, сообщил в письме от 23 июня 1993 года, что речь идет о том, чтобы найти двух непосредственных очевидцев «для удостоверения длительности вашего пребывания в депортации».

73

Возможно, вскоре на рассмотрение историков будут представлены новые подробности в связи с решением Бориса Ельцина о возвращении французских архивов Министерства безопасности и Министерства внутренних дел, захваченных в 1940 году нацистами и обнаруженных Красной армией брошенными в поезде, следовавшем в Чехословакию во время отступления немцев. Существование этих архивов было открыто только в 1991 году, и их возвращение состоялось в ноябре 1992 года. (*Liberation,* 24 octobre 1993.)